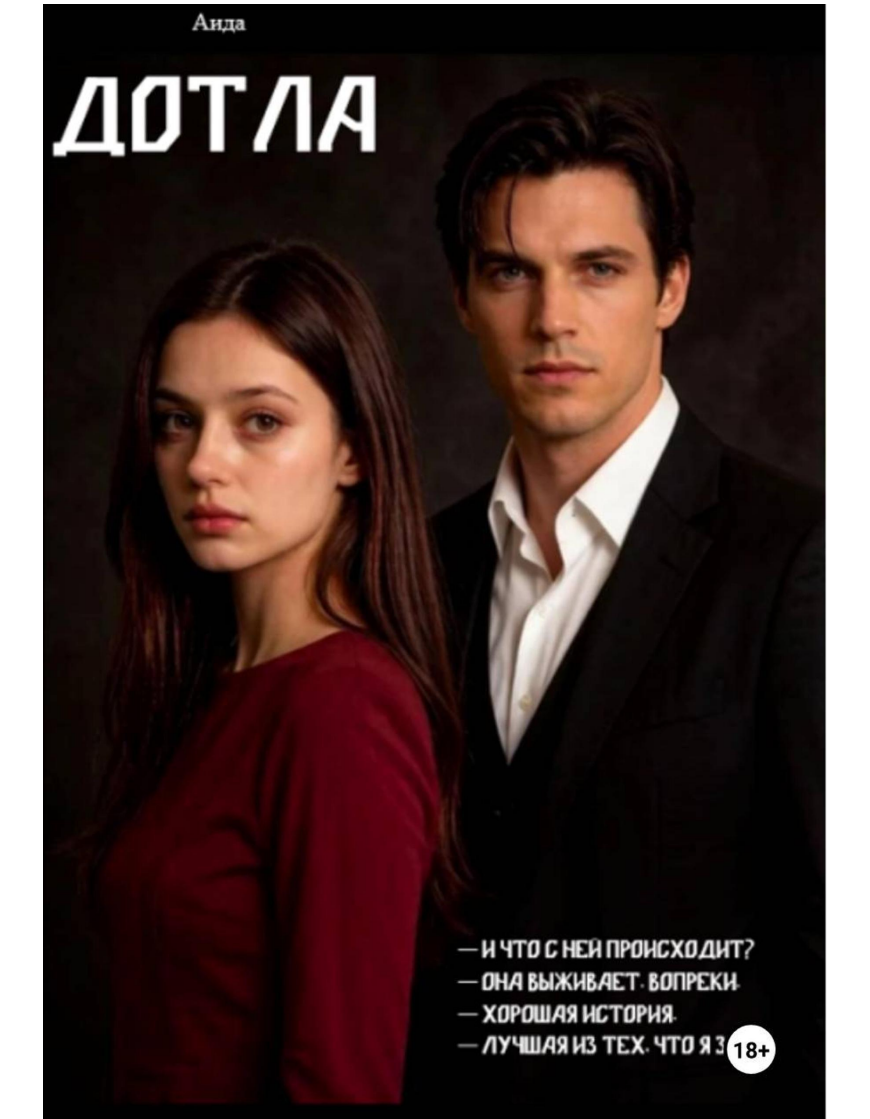


Аида

ДОТЛА



— И ЧТО С НЕЙ ПРОИСХОДИТ?
— ОНА ВЫЖИВАЕТ. ВОПРЕКИ.
— ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ.
— ЛУЧШАЯ ИЗ ТЕХ, ЧТО Я З

18+

Ада Линн Дотла

<https://litres.ru/74181938>

SelfPub; 2026

Аннотация

Их брак — холодный расчёт, призванный скрепить мир между семьями. Он привёз её в свой дом, чтобы медленно уничтожить, но не учёл одного: она уже была сломлена задолго до их встречи. Сможет ли монстр, привыкший только разрушать, спасти то, что сам же и уничтожил?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	29
Глава 3	48
Глава 4	72
Глава 5	91
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Ада Линн Дотла

Глава 1

Скандал в доме Аспер

Голос отца вошёл в сон раньше, чем она успела проснуться.

Лили лежала неподвижно, спиной к двери, глаза открыты. Серый утренний свет просачивался сквозь щель в шторах и ложился полосой на деревянный пол — ровной, безучастной полосой, которой было совершенно всё равно, что за стеной уже грохочет.

Она умела так: замирать сразу. Не потому что решала — тело само знало, что делать с резкими звуками. Ещё до того, как сознание успевало дать имя тому, что слышат уши, ноги подтягивались к животу, плечи сжимались чуть выше, дыхание становилось поверхностным и тихим. Старый рефлекс. Надёжный.

Она не шевелилась. Даже кровать не скрипела.

— ...не смей говорить мне, что это не твоя вина...

Голос Стефано прорывался сквозь стену неравномерно, как сигнал с плохой антенной: отдельные слова чёткие, остальное — низкое гудение, в котором угадывалась угроза.

Лили сосредоточилась. Не потому что хотела слушать — потому что надо было понять, куда он движется. Какое направление. Как далеко.

— ...позор... этот дом... имя...

Стив.

Она расслышала его имя чётко, потом ещё раз, потом — имя девушки, которое отец произнёс так, будто само слово было ядовитым. Что-то о её отце. Что-то о территории. Слово «союз» — произнесённое с таким презрением, будто это было ругательство.

Лили выдохнула медленно.

Не про неё.

Это была не та мысль, которой следовало стыдиться — но она устыдилась всё равно. Мгновенное, стыдное облегчение, тёплое и гадкое одновременно, как маленький предатель, поселившийся где-то под рёбрами. *Не я.* А потом сразу же — тяжесть следом, потому что это означало, что Стив сейчас стоит там и принимает то, от чего она сегодня освобождена. И радоваться этому было невозможно, и не радоваться тоже.

Она осталась лежать ещё две минуты. Может быть, три.

Голос отца не смещался в сторону лестницы — оставался там, в крыле Стива, на другом конце коридора. Это было хорошо. Это давало время.

Лили встала аккуратно, перенесла вес на руки сначала, потом на ноги — кровать не издала ни звука. За годы она научилась двигаться в этом доме почти бесшумно. Не как тень

— тени замечают. Скорее как воздух: что-то, без чего помещение технически не пустое, но что никто не видит.

Она подошла к шкафу.

Водолазка была первым, что попало под руку, — мягкая, тёмно-серая, с воротом, который закрывал горло и ключицы. На улице уже стояло то итальянское лето, которое приходит в Лацио раньше календаря: плотное, настойчивое, пахнущее разогретой землёй и хвоей. В водолазке будет жарко.

Лили надела её не раздумывая.

Она не смотрела на синяк специально — краем зрения, пока поправляла воротник в зеркале. Жёлто-лиловый отпечаток на правой ключице, уже смягчившийся по краям, но в центре ещё тёмный. Ещё дня три, наверное. Она отметила это так, как отмечают погоду или состояние дороги: нейтрально, без интонации, как факт, который нужно учесть при планировании. Водолазка. Хорошо. Следующий пункт.

Инвентаризация, которую она никогда не называла вслух.

Волосы она убрала быстро — простая коса, ничего, что требовало бы времени перед зеркалом. Зеркало было маленьким и висело чуть ниже, чем нужно, так что лицо в нём всегда выглядело немного усечённым сверху. Она давно перестала его поправлять.

Книга лежала на ночном столике — там, где всегда.

Лили взяла её двумя руками, как берут что-то, что может выскользнуть. Корешок давно потрескался, и на сгибе остался беловатый след — там, где открывали сотни раз на одной

и той же странице. Обложка когда-то была тёмно-зелёной, теперь стала цвета старой хвои. Загнутые углы на трёх первых страницах она не разгибала принципиально — это были её закладки, её следы, доказательство, что книга читана и читана снова и ещё раз.

Джейн Эйр.

Она прижала её к груди — не демонстративно, просто так получилось. Ладони сомкнулись поверх обложки, и на секунду — буквально на одну секунду — стало чуть легче дышать. Глупо. Но Джейн была женщиной, которая умела стоять прямо в домах, которые её не хотели. Лили каждый раз, открывая эту книгу, как будто брала в долг немного её позвончика.

Она вышла в коридор.

Голос отца стал чуть громче — он говорил теперь без пауз, ровным, отчётливым тоном, который был хуже крика. Крик означал аффект. Ровный голос означал, что он уже всё решил.

Лили шла вдоль стены, не касаясь её — просто близко, по привычке держаться у края. Паркет здесь не скрипел, она знала все скрипящие места наизусть: третья доска от окна, вторая от дверного проёма в малой гостиной, пятая ступенька на западной лестнице. Карта безопасного передвижения, которую никто не рисовал — она сама сложилась за годы из опыта и осторожности.

Стив появился в конце коридора неожиданно.

Он вышел из-за поворота — быстро, как будто хотел обогнать что-то — и они оказались лицом к лицу на расстоянии нескольких шагов. Лили остановилась.

Лицо у него было белым. Не от страха — от чего-то, что было сложнее страха. Челюсть сжата, взгляд направлен в пол, плечи чуть втянуты. Она знала этот вид. Знала его, потому что видела его в зеркале.

Их взгляды встретились — коротко, как прикосновение.

Стив едва заметно качнул головой. Один раз. Медленно.

Не сейчас. Не сюда.

Лили кивнула.

Не было ни слова. Не нужно было. Они разговаривали так давно — жестами, взглядами, этим языком, который развивается у людей, живущих в доме, где слова стоят дорого. Она повернула в другую сторону — к дальнему крылу, к библиотечной комнате, к окну с видом на сад.

За спиной снова загремел голос отца.

Лили прибавила шаг — не убегая. Просто уходя. Это было важное различие, которое она повторяла себе время от времени, когда хотелось думать о себе честно.

Она шла туда, где её не найдут раньше, чем буря утихнет.

Поместье знало её шаги наизусть. Вернее — она знала его шаги: каждую скрипучую половицу в длинном коридоре второго этажа, каждое место, где паркет вздыхал под ногой с особенным, слишком громким звуком. Третья доска от лестничного пролёта. Седьмая у портрета прадеда с холодными

рыбьими глазами. Тринадцатая — та, что возле окна с треснувшим переплётom.

Лили шла вдоль стены, касаясь пальцами обоев, и её ноги сами находили безопасный путь — чуть левее, потом правее, потом снова к самому плинтусу. За годы это стало таким же автоматическим, как дыхание. Карта минного поля, вытверженная наизусть.

Снизу доносился голос отца — не слова, только тон. Того тона было достаточно. Он нарастал и опадал волнами, и Лили научилась читать эти волны так, как читают погоду по цвету неба: красное небо с утра — жди шторма, ровное и низкое давление — жди молчания, опаснее шторма. Сейчас небо было красным. Стив где-то внизу принимал на себя весь этот гром, и Лили была ему за это благодарна так, как бывают благодарны за вещи, о которых стыдно говорить вслух.

Она дошла до поворота в дальнее крыло.

Здесь коридор становился уже и темнее — матовые окна под потолком пропускали только рассеянный, белёсый свет, почти не отбрасывавший теней. Портреты кончались. Паркет сменялся более старым, разохшимся — но зато молчаливым, если знать, где ступать. Лили знала.

Штора была на месте.

Тяжёлый бархат цвета засохшей сливы, когда-то, должно быть, тёмно-бордовый, но выцветший до неопределённости. Она отодвинула край, протиснулась в проём между тканью и

стеной, привычно подтянула ноги, устраиваясь на подоконнике. Дерево было холодным сквозь тонкую ткань брюк, но это был свой холод, известный и предсказуемый.

За окном открывался сад.

Не парадный, где ровные самшитовые бордюры и фонтан с облупившейся нимфой, — тот сад был для гостей, для вида, для демонстрации того, что семья Аспер умеет держать вещи в порядке. Этот — боковой, заросший, полузаброшенный, с грушей у стены, которую давно никто не обрезал, и с клумбой, где когда-то росли розы, а теперь росло всё подряд. Здесь ничего не показывали. Здесь просто был сад.

Отец никогда не заходил в дальнее крыло. Незачем было — здесь не хранилось ничего ценного. Только старая мебель, несколько пустых комнат с закрытыми ставнями и этот подоконник с видом на некрасивый сад.

Пахло пылью и старым деревом. Этот запах Лили однажды поймала себя на том, что любит, — и удивилась, как можно любить запах запустения. Потом поняла: она любила его не сам по себе. Она любила то, что он означал. Что здесь безопасно.

Она открыла книгу.

Закладка — сложенный вчетверо автобусный билет, ещё из прошлого года, из той единственной поездки в город, которую отец разрешил под присмотром — лежала на сцене в красной комнате. Лили расправила страницу, хотя знала её почти наизусть.

Прочитала вслух, одними губами, почти без звука:

— Я была одна на свете, никем не любимая.

Пауза.

Груша за окном качнула веткой — ветер или птица, непонятно. В коридоре где-то скрипнула половица, но далеко, не приближаясь.

Классика жанра, — подумала Лили.

Джейн хотя бы знала, что заперта. Это, если подумать, было почти преимуществом — когда знаешь, что заперта, можно хотя бы злиться. Можно смотреть на стены и понимать: вот стены. Вот замок. Вот снаружи — что-то другое.

Лили долго не понимала.

Она думала — просто живёт. Что другие живут так же, только говорят об этом меньше. Что тишина за ужином — норма, что ходить вдоль стен — осторожность, что придумывать объяснения синякам — необходимость, общая для всех, кто знает, как устроен этот мир. Ей потребовались годы и несколько случайных фраз в чужих книгах, чтобы понять, что нет. Что это не норма. Что она сидит в красной комнате и называет это домом.

Джейн из комнаты выбралась. Сначала — в Ловуд, потом — в Торнфилд, потом — через торф и болото к человеку, который её звал.

Лили перевернула страницу.

Выход она не видела. Не потому что его не существовало — она была достаточно умна, чтобы понимать: теоретиче-

ски что-то всегда существует. Но выход подразумевал шаг, а шаг подразумевал, что после него не будет Стива. Стив был внизу сейчас — принимал на себя гром за свою девушку, за свой выбор, за то, что осмелился хотеть чего-то, чего отец не санкционировал. Стив был единственным человеком в этом поместье, который иногда смотрел на неё как на человека, а не как на деталь интерьера.

Пока Стив был здесь — она была здесь.

Это была не стратегия. Это была просто правда, и Лили давно перестала называть её жертвой. Жертва подразумевала что-то красивое и возвышенное. Это было просто — арифметика. Уравнение с одним решением.

Снизу донёсся новый взрыв — голос поднялся до той высоты, где уже не различались слова, только ярость, чистая и привычная как запах грозы. Потом хлопнула дверь. Тяжело, с полным намерением.

Лили не вздрогнула.

Она заметила это — что не вздрогнула — почти отстранённо, как замечают погоду за стеклом. Тело перестало реагировать на звук, это произошло как-то само собой, постепенно, как накапливается известь на водопроводных трубах — слой за слоем, пока не перестаёт поступать вода. Она не знала, было ли это хорошо или плохо. Наверное, плохо. Наверное, хорошо.

Пальцы только чуть крепче сжали книгу — она заметила это тоже. Побелевшие костяшки на тёмной обложке. Ма-

ленькое предательство тела, которому не объяснили, что бояться уже необязательно.

За окном груша стояла неподвижно. Сад молчал.

Лили нашла нужную строку и начала читать снова — медленно, как будто у неё было всё время мира.

Мишель вошла в коридор с грохотом — ведро задело плинтус, тряпка шлёпнулась на паркет — и остановилась как вкопанная, увидев Лили за шторой.

Не то чтобы Лили пряталась. Просто окно в конце дальнего коридора выходило на северную сторону сада, где тис рос так плотно, что даже зимнее небо казалось зелёным. Там можно было сидеть на подоконнике, поджав ноги, и стать частью тени — не человеком, не дочерью Стефано Аспера, не предметом интерьера, а просто тенью. Это было почти как не существовать. В хорошем смысле.

— Синьорина Аспер! — Мишель прижала руку к груди. — Простите, я не знала, что вы здесь. Я бы не стала шуметь.

— Всё хорошо, — сказала Лили и сама услышала, насколько ровно это прозвучало. Без обиды, без раздражения, без ничего. Она давно научилась этой интонации — нейтральной, как стекло. — Ты меня не видела. Я здесь и не была. Привычное дело.

Мишель смотрела на неё секунду дольше, чем требовала вежливость. Горничная была лет сорока — немолодая, с натруженными руками и привычкой не поднимать глаз выше уровня плеча. Но сейчас она смотрела прямо на Лили с вы-

ражением, которое та не сразу распознала.

Потом распознала. Жалость.

Лили опустила взгляд на книгу.

— Это та же самая? — спросила Мишель тихо — почти шёпотом, как говорят в церкви или в доме, где стены слышат.
— Я видела вас с ней во вторник. И в четверг, кажется.

— Она длинная. — Лили провела пальцем по корешку. Обложка была мягкая, потёртая, чуть облезшая у верхнего угла — признак того, что книгу любили, а не только читали.
— И я иногда возвращаюсь назад.

— О чём она?

Лили подняла глаза. Мишель не ушла — стояла с тряпкой в руке, ждала. Не из вежливости. Из настоящего интереса — или из чего-то, что выглядело как настоящий интерес, а это было редкостью само по себе.

— О девушке, — сказала Лили. — Которую все считают лишней. Она сирота, живёт в чужих домах, её не замечают, не берут в расчёт. Все вокруг убеждены, что ей нечего предложить миру. — Она помолчала. — Но они ошибаются.

Мишель слушала. По-настоящему слушала — наклонив голову чуть набок, как слушают дети, которым ещё не объяснили, что это некультурно.

— И что с ней происходит? — спросила она.

— Она выживает. — Лили почти улыбнулась. — Вопреки.

Мишель кивнула медленно. Потом ещё раз — как будто обдумывала это, примеряла на что-то своё.

— Хорошая история, — сказала она наконец.

— Лучшая из тех, что я знаю.

Снизу донёсся звук — хлопнула дверь, голос отца взлетел на секунду выше обычного, потом осёкся. Лили почувствовала, как тело само по себе стянулось — плечи, живот, дыхание. Мишель это увидела. Она всегда всё видела — горничные видят больше, чем им полагается, и молчат об этом лучше, чем им это даётся.

— Ладно, — сказала Мишель, наклоняясь за тряпкой. — Я пойду. Дела.

Но она не ушла сразу.

Она задержалась — на один шаг, потом ещё — и положила руку на плечо Лили. Осторожно. Так кладут руку на что-то хрупкое, не зная точно, насколько.

Ничего не сказала. Просто постояла секунду — и ушла. Колёса ведра тихо скрипели, удаляясь по коридору.

Лили смотрела на своё плечо ещё долго после того, как рука исчезла.

Когда последний раз кто-то прикасался к ней так?

Она попробовала вспомнить. Честно попробовала — перебрала последний месяц, потом предыдущий, потом ещё дальше. Стив иногда сжимал её запястье на ходу — быстро, как будто извиняясь заранее. Это было давно. Мать умерла, когда Лили было шесть, и она не помнила её рук — только запах, что-то сладкое и молочное, уже почти растворившееся за годы.

Она не нашла ответа.

Жалость к себе была вещью, которую Лили давно убрала в дальний ящик и заперла на ключ. Это был вопрос выживания — не гигиены, а именно выживания. Если начнёшь жалеть себя, размягчишься, а размягчившись, не устоишь. Джейн Эйр понимала это инстинктивно: «Я должна сохранить здоровье и не умереть с горя». Простая формула. Действенная.

Но чужое сочувствие работало иначе, чем собственная жалость.

Собственную жалость можно было заперть. Чужую — нет. Она просачивалась сквозь ключ, сквозь стены ящика, сквозь всё то, что Лили строила годами с тщательностью архитектора, которому хорошо известна сейсмическая активность в этой местности. Чужое сочувствие не спрашивало разрешения. Оно просто входило — через ладонь на плече, через взгляд, через слова «хорошая история», сказанные тихо, без ничего лишнего.

И оставляло после себя что-то невыносимое.

Не боль. Боль Лили знала хорошо — она была предсказуемой, почти привычной. Это было другое. Что-то горячее и неловкое, как если бы отмороженный палец начал оттаивать и вдруг стало понятно, что он всё ещё живой.

Она прижала книгу к груди и посмотрела в окно.

За стеклом тис стоял тёмный и неподвижный, как всегда. Небо над ним было серым — не тем серым, что обещает дождь, а тем, что просто есть, без обещаний. Где-то внизу

хлопнула ещё одна дверь.

Лили закрыла глаза на секунду.

Она выживает, — подумала она. — *Вопреки.*

Голоса стихли.

Лили прислушивалась у двери своей комнаты ещё несколько минут — просто чтобы убедиться. Тишина была особого рода: не домашняя, не мирная, а та, что наступает после грозы, когда воздух ещё насыщен озоном и сыростью и неизвестно, кончилась ли гроза на самом деле или только переводит дыхание. Желудок давно перестал напоминать о себе настойчиво — теперь просто тянул ровно и тупо, как застарелая обида. Она не ела с вечера.

Путь к кухне лежал через главный холл.

Другого не было.

Она оставила Джейн Эйр раскрытой на кровати — страница сто двенадцать, тот момент, когда Джейн впервые слышит смех в стенах Торнфилда и не понимает, что за ним стоит. Потом поправила манжет длинного рукава, хотя ничего под ним не было видно и так. Привычка.

Холл встретил её полуденным светом, косо падающим сквозь высокие матовые окна. Черный паркет отражал этот свет как стоячая вода — молчаливо, без блеска. Лили ступала почти бесшумно, держась правой стороны, вдоль стены с портретами, — она давно заметила, что половицы здесь не скрипят. Небольшое знание, добытое долгими годами.

Он стоял у окна в дальнем конце холла.

Спиной к ней.

Она сделала ещё три шага, потом ещё два — почти до поворота на коридор, почти, уже почти — и тут он произнёс её имя.

— Лили.

Тихо. Без крика. Без резкости.

Тихо было хуже всего. Крик — это буря, у неё есть начало и конец, можно переждать. Тихое «Лили» — это архитектура: основательная, продуманная, со стенами и сводами, и она жила внутри этой архитектуры всю свою сознательную жизнь.

Она остановилась. Обернулась. Не торопливо — торопливость он читал как слабость.

— Отец.

Стефано не спешил поворачиваться. Смотрел в окно ещё секунду-другую, словно пейзаж за стеклом требовал завершить какую-то мысль. Потом повернулся. Лицо у него было спокойным — то спокойствие, которое дорого обходится окружающим.

— Где ты была?

— У себя. Читала.

Он смотрел на неё. Не на её лицо — на неё целиком, методично, как смотрят на предмет, который ещё не решили, куда поставить. Оставить в этой комнате или вынести. Продать или выбросить. Лили знала этот взгляд так же хорошо, как знала скрипучие половицы. Он не причинял боли сам по

себе — боль причиняло то, что ты понимал: ты не человек в этом взгляде. Ты вещь, которую пока не переставили.

Молчание тянулось.

Она не заполняла его. Это тоже было частью стратегии — выученной, отточенной. Любое лишнее слово давало ему материал. Молчание не давало ничего.

— Скоро ты будешь полезна, — сказал он наконец.

Больше ничего. Отвернулся обратно к окну.

Она ждала секунду — не из колебания, а потому что уйти сразу после его слов тоже читалось неправильно. Потом повернулась и пошла к кухонному коридору ровным шагом, чуть медленнее, чем ей хотелось.

За дверью кухни она прислонилась к стене и закрыла глаза.

Сердце билось спокойно. Это её всегда удивляло — то, что тело не паникует, пока голова ещё держит форму. Страха не было. Или то, что было, давно перестало называться страхом — износилось, стёрлось до чего-то более плоского и постоянного. Не острое, не жгучее. Просто знание. Знание, что она уже продана. Что «скоро» — это не угроза, не обещание чего-то конкретного, а всего лишь сообщение о факте, который уже состоялся где-то в кабинетах и на переговорах, просто ещё не добрался до неё бумажно, официально, с именем и датой.

Кому — она не знала.

Она открыла глаза, отлепилась от стены и подошла к хо-

лодильнику.

Открыла дверцу. Постояла.

Внутри был холод и свет, и несколько контейнеров, и початая бутылка воды. Она смотрела на всё это, и желудок молчал, и аппетит — то, что от него оставалось, — куда-то ушёл, как уходит вода в песок, быстро и бесследно. Она закрыла холодильник.

Джейн тоже не знала, куда её везут.

Лили подумала об этом совершенно неожиданно для себя — просто возникло, как возникают иногда чужие фразы, когда слова закончились. Джейн сидела в карете, уезжала из Гейтсхеда, и единственное, что она знала — что этот дом ей не принадлежал никогда и никогда не будет принадлежать. Это было почти утешение. Почти.

И всё равно она села в карету.

Лили не знала, что это значит для неё самой — сесть в карету. Не знала, будет ли у неё такой выбор или его примут за неё, как принимали всегда. Но что-то в этой мысли держало — то, что Джейн не знала и всё равно поехала. Что незнание само по себе не приговор.

Она налила воды из-под крана, выпила стакан стоя, глядя в окно над раковиной. Сад за стеклом был зелёным и аккуратным и совершенно чужим.

Потом поставила стакан и вышла.

Стив нашёлся в гараже.

Лили знала, что найдёт его именно здесь — в этом длин-

ном, пахнущем машинным маслом и бетонным холодом пространстве, куда отец почти никогда не заходил. Стив любил это место по той же причине, по которой она любила свою комнату с книгами: здесь можно было дышать.

Он сидел на капоте серебристого «Мерседеса», закинув ногу на ногу, и смотрел сквозь узкое вертикальное окно под потолком — в прямоугольник зимнего неба, белёсого и пустого. Сигарета в пальцах почти догорела. Он не докуривал её — просто держал, как будто забыл, для чего она.

Лили не сказала ничего. Подошла, оперлась о капот рядом и тоже залезла. Металл был холодным даже через джинсы. Они посидели молча — минуту, может, две. В тишине было что-то привычное, как потёртый плед: не мягкое, но своё.

Снаружи хлопнула дверь. Оба напряглись. Потом — шаги в другую сторону, и напряжение стекло, как вода.

— Отец узнал про Валерию, — сказал Стив.

Он сказал это ровно, без вопроса, без начала. Просто констатировал — как называют погоду, которая уже пришла.

Лили не спросила, как. В этом доме стены не просто слышали — они докладывали. Каждая горничная, каждый охранник, каждый человек, которому казалось, что его заметят, если он принесёт правильное имя нужному человеку. Она спросила другое:

— Он её тронул?

Стив покачал головой. Медленно, не глядя на неё.

— Пока нет.

«Пока» — короткое слово. Два слога. Лили ощутила его как удар в солнечное сплетение, тупой и неожиданный, несмотря на то что знала — оно придёт. Оно всегда приходило.

Она уставилась на свои руки, сложенные на коленях. Водолазка тянула у горла, чуть тесноватая, как обычно. Она носила её второй день подряд.

— Стив, — начала она.

Слова стояли у самого горла, аккуратные и готовые: *уходи*. *Уходи с ней, пока можешь, пока отец не превратил это в оружие, пока ты ещё можешь выбирать*. Она видела их так ясно, эти слова, — как видят дверь в горящем доме. Вот она, выход, иди.

Но за ними сразу пришло другое. Тихое, стыдное, настоящее: если Стив уйдёт, она останется одна.

Совсем.

Лили закрыла рот. Переложила руки. Посмотрела снова в то узкое белёсое окно.

Она ненавидела себя за это примерно так же, как ненавидела стратегию невидимости, молчание вместо крика, водолазки в январе. Всё это были инструменты выживания, и ни один из них не делал её человеком, которым хотелось быть. Джейн Эйр говорила: *я должна уважать себя*. Лили уважала себя ровно настолько, чтобы не умолять Стива остаться. Но не достаточно, чтобы сказать ему правду.

Молчание между ними лежало тяжело. Как что-то, у чего

есть вес и запах — старый, застоявшийся, знакомый. Они оба знали, что в нём находится. Просто ни один не решался назвать.

Стив посмотрел на неё — быстро, наискосок, как смотрят на то, что больно видеть. Его взгляд скользнул по высокому воротнику, на секунду задержался — и ушёл обратно к окну.

Лили почувствовала, как что-то сжалось у неё в груди. Не от его взгляда. От того, что он отвёл его.

Они оба всё знали. Она знала, что он знает. Он знал, что она знает, что он знает. Это был целый архив молчания — тома и тома непроизнесённого, расставленные по полкам в строгом порядке, никогда не перечитываемые вслух.

— Я что-нибудь придумаю, — сказал Стив.

Голос у него был ровный. Почти убедительный, если не знать его так, как знала она.

Лили кивнула.

Они оба понимали, что это неправда. Не потому что Стив трус или лжец — он не был ни тем, ни другим. А потому что некоторые вещи нельзя придумать изнутри клетки. Можно только ждать, пока кто-то придёт снаружи. Или пока клетка сама не сломается. Или пока перестанешь ждать чего бы то ни было вообще.

Но это было единственное, что они могли дать друг другу прямо сейчас. Эту маленькую неправду — бережно, двумя руками, как дают стакан воды тому, кто тонет.

Лили соскользнула с капота первой.

Не потому что ей нужно было уходить. А потому что если она останется ещё немного — он увидит её лицо. А она не хотела, чтобы он видел. Не сегодня. Сегодня у него было достаточно своего.

Она шла по гаражу, и каждый шаг отдавался в бетонном полу чуть громче, чем хотелось. У двери она остановилась на секунду — не обернулась, просто остановилась, — и почувствовала, как за спиной Стив снова смотрит в своё белое прямоугольное небо.

Потом вышла.

Сад за окном темнеет раньше, чем успеваешь это заметить. Сначала свет просто становится другим — мягче, тяжелее, будто кто-то накрыл его тюлем. Потом тени между кустами сливаются в одно сплошное пятно. Потом ничего не остаётся, кроме неровного отражения комнаты в стекле.

Лили сидит на кровати, книга открыта на коленях. Не читает.

Не плакать там, где слышно. Первое правило. Стены в этом доме тонкие ровно настолько, чтобы отец мог убедиться: всё под контролем. Слезы — это звук. Звук — это слабость. Слабость — это повод.

Не бежать, потому что бежать некуда. Второе. Она проверяла. В четырнадцать — первый раз, когда синяки ещё казались чем-то из ряда вон выходящим, а не просто фоном. Доехала до автостанции в Лацио, простояла у кассы двадцать минут и поняла: билет можно купить, а дальше что? Куда

ехать? К кому? Мир за воротами поместья не делал исключений для дочерей мафиозных семей с пустыми карманами и без документов.

Не надеяться слишком сильно. Третье и самое трудное. Потому что надежда — это не слабость, которую видно снаружи. Это слабость внутри, та самая, которую ты прячешь даже от себя. А потом она взрывается — тихо, без предупреждения, — и становится больше, чем всё остальное.

Лили закрывает книгу. Встаёт.

Она стягивает водолазку через голову одним привычным движением — плавно, не резко, потому что резко иногда тоже больно. Маленькое зеркало на стене отражает только её от плеч до пояса: этого достаточно.

Синяк на рёбрах слева пожелтел по краям. Она наклоняется ближе, смотрит. Не с ужасом — ужас давно стал слишком дорогим удовольствием. Просто смотрит. Инвентаризация, как утром, только теперь в обратную сторону: не накрывает, а снимает.

Жёлтый по краям. Значит, заживает. Значит, через неделю-полторы пройдёт.

Значит, скоро будет новый.

Она надевает водолазку обратно. Садится на кровать.

Страница сто пятьдесят восемь размягчилась от прикосновений — бумага уже не хрустит, а скользит под пальцем, как ткань. Лили знает это место на ощупь, даже без света нашла бы его.

«Я не птица, и никакая сеть меня не поймает; я свободное человеческое существо с независимой волей».

Она проводит подушечкой пальца по строке. Медленно, слева направо.

Джейн говорила это Рочестеру. Говорила человеку — живому, реальному, который стоял рядом и слышал. Лили думала об этом много раз: что значит говорить вслух то, что обычно живёт только внутри? Какого это — когда слова не просто крутятся в голове, а становятся воздухом, которым дышит кто-то ещё?

Мне говорить некому.

Она не произносит это с горечью. Просто констатирует — как жёлтый край синяка. Факт. Факт не требует интонации.

Но строку всё равно помнит наизусть. И всё равно проводит по ней пальцем каждый раз. Потому что слова остаются словами, даже если их не слышит никто, кроме тебя. Может, это и есть то, что у неё есть вместо разговора. Вместо Рочестера. Вместо кого угодно.

Я не птица.

Слова отца возвращаются без предупреждения, как всегда.

Скоро ты будешь полезна.

Лили закрывает книгу. Кладёт её на тумбочку обложкой вниз — так, чтобы не видеть названия. Это ничего не меняет, конечно. Но иногда нужно убрать хорошее подальше от плохого, чтобы они не соприкасались.

Что-то изменится. Она чувствует это с тупой определённой — не страхом, не предвкушением, просто знанием. Как чувствуешь грозу за несколько часов: воздух становится другим, тяжелее, суше, и ты ещё не видишь туч, но уже знаешь. Что-то произойдёт. Отец что-то решил или решит. Она не знает что. Знает только: когда это случится, её мнения не спросят.

Как обычно.

Она не злится на это — злость требует энергии, которой давно нет. Просто принимает к сведению. Ещё один факт в списке фактов.

Лили тянется к выключателю, не вставая с кровати. Комната уходит в темноту.

В темноте — лучше. Темнота не смотрит. Темнота не оценивает, не ждёт, не решает, полезна ты или нет. В темноте можно лежать поверх одеяла, не раздеваясь, и смотреть в потолок, и не притворяться, что всё в порядке, — потому что некому притворяться.

Потолок белый. В темноте — серый. Лили смотрит на него.

Джейн тоже не знала. Вот о чём она думает — последнее, перед тем как провалиться в усталость. Джейн шла в Торнфилд и не знала, что найдёт там Рочестера. Не знала, что он окажется именно таким — сложным, тёмным, с комнатой, которую нельзя открывать. Она просто шла, потому что больше некуда было идти.

Иногда незнание — это всё, что у тебя есть.
Лили закрывает глаза.
Почти спокойно.

Глава 2

Приказ, которому нельзя возразить

Они расположились по обе стороны от дубового стола, как и положено: Лукас — в центре, Джон — справа от него. Восемь капо подразделений вдоль стен. Старомодные часы на стене отмерили четверть седьмого и замолчали.

Джон не шевелился.

Он стоял прямо, руки сцеплены за спиной, и методично читал лица. Антонио Верди — третье место у окна, складки вокруг рта чуть резче, чем год назад. Давит что-то. Ренато Сасси — у левой стены, взгляд сверху вниз, хотя Сасси ниже Джона на голову. Амбиция без опоры. Марко Феррари — единственный, кто смотрит в пол, и именно это делало его самым опасным человеком в комнате. Умный.

Каждое лицо — информация. Каждый чужой взгляд — вопрос, который Джон уже давно для себя закрыл.

Кабинет Лукаса не располагал к торжеству. Никакого лишнего — массивный стол, несколько стульев, часы. Дерево и тишина. Джон всегда ценил это в Лукасе: тот не любил украшений. Только суть.

— Думаю, все понимают, зачем собрались.

Голос Лукаса был ровным, без предисловий. Он стоял во главе стола — не высокий, но такой, что взгляд всё равно поднимался.

— Семья Кастильо нуждается в человеке, которому можно доверить то, что важнее территорий и денег. Оперативное решение. Способность действовать там, где я не успею. — Пауза. Лукас посмотрел на Джона — не долго, ровно столько, сколько нужно. — Джон Коул.

Джон не изменился в лице.

Лукас обошёл стол. Медленно, без спешки, как человек, который никуда не торопится, потому что всё уже решено. Он встал рядом и положил руку на плечо Джона — жест простой, почти тихий, но весил больше, чем любое слово в этой комнате.

— Младший босс семьи Кастильо.

Апплодисменты были сдержанными. Не потому что не хотели — потому что здесь так не принято. Несколько хлопков, затем тишина. Рукопожатия. Антонио Верди первым подошёл — крепко, чуть дольше необходимого, смотрел в глаза. Уважение без любви. Джон принял это. Сасси — холоднее, быстрее, почти формально. Зависть носит такие жесты. Марко Феррари просто кивнул издалека. Не подошёл.

Джон пожимал руки, смотрел в лица, отвечал ровно. Ни теплее, ни холоднее, чем требовала ситуация. Именно этот баланс стоил ему лет выдержки — не показывать слишком мало, не давать слишком много.

Внутри не было гордости.

Он ждал этого момента — не потому что хотел власти, хотя власть была нужна. Не ради имени, хотя имя тоже что-то

значило. Должность открывала двери. Давала ресурсы. Приближала к Стефано Асперу на один конкретный шаг.

Холодное удовлетворение — вот что он чувствовал. Как человек, который долго шёл в темноте и наконец нащупал дверную ручку. Ещё не внутри. Но уже близко.

После рукопожатий капо разошлись по краям комнаты, негромко переговариваясь. Лукас отошёл к столу. Джон остался стоять там, где стоял.

Тишина после церемонии была другой — не давящей, а пустой. Как комната, из которой только что вынесли мебель.

Он сам не понял, как это случилось.

Взгляд остановился на часах. Старомодные, с деревянным корпусом, такие же, как были у отца Лукаса — Джон помнил их по единственному разу, когда бывал здесь ребёнком. Ему было девять. Кристиан Коул держал его за плечо и говорил — тихо, только для него — что это место, где принимают решения, которые остаются. Джон тогда не понял. Смотрел на часы и думал, что они идут слишком громко.

Сейчас они шли так же.

Кристиан умер здесь — не в этой комнате, но в этом деле. Демьян умер рядом с ним. Двух выстрелов хватило, чтобы Коулы потеряли всё, что не измерялось деньгами. Стефано Аспер знал, что делал. Убрал отца, убрал брата, оставил семью без основания — и всё это под видом случайного столкновения территорий.

Не было случайности.

Десят лет он собирал, проверял, ждал момента, когда у него будет достаточно — власти, людей, доказательств. Сегодня стало больше.

Он жёстко оборвал мысль. Не здесь. Не сейчас.

Воспоминание убрано. Лицо ровное.

Лукас посмотрел на него из-за стола — коротко, чуть восторженно. Джон едва заметно качнул головой. Всё в порядке. Лукас принял это без слов.

Часы снова пошли — мерно, без спешки, как будто им не было дела до того, что происходит под ними.

Джон развернулся к окну.

Рим лежал внизу в вечернем свете, серо-золотой, равнодушный. Город, который видел слишком много, чтобы удивляться ещё чему-то.

Ещё один шаг.

Гости расходились, как вода после камня — медленно, расходящимися кругами. Кто-то задержался у буфета, кто-то говорил у порога, и Джон стоял чуть в стороне, наблюдал, как новый статус опускается на него, точно хорошо сшитый пиджак — плотно, без складок, будто и шили на него.

Лукас оказался рядом незаметно. Не подошёл — возник. — Джон, — только и сказал, и взглядом — к кабинету. Это не было приглашением.

Джон поставил бокал на поднос проходящей официантки. Ни торопливости, ни паузы — ровно столько, сколько надо, чтобы двинуться следом.

Кабинет Лукаса был таким, каким Джон его помнил с двадцати лет, — без лишнего. Массивный дубовый стол, старомодные часы на стене, которые тикали так мерно, что начинали раздражать минуте на десятой. Никаких трофеев, никаких фотографий. Лукас не хранил прошлое в кабинете — он хранил его в другом месте.

Дверь закрылась.

Джон это услышал — не звук замка, а то, как воздух изменился. Стал плотнее. Тише. Как перед тем, как что-то происходит.

Лукас не сел. Встал у стола, опёрся ладонями о столешницу, и несколько секунд смотрел на Джона — спокойно, без спешки, как смотрит человек, который уже принял решение и теперь только ждёт, чтобы оно вступило в силу.

— Семья Фатильо давит сильнее, чем год назад, — начал он. — Нам нужен союз с севером. Аспер держит Лацио и часть Австрии. Без него мы будем тянуть войну на два фронта.

Джон молчал. Слушал.

— Аспер согласен на союз при одном условии.

Пауза — намеренная. Лукас умел пользоваться тишиной как инструментом.

— Брак с его дочерью.

Имя ударило раньше, чем мозг успел выстроить защиту.

Аспер.

На секунду в глазах потемнело — не от слабости, от че-

го-то другого, от того, что поднялось снизу, из того места, куда Джон не заглядывал без крайней нужды. Отец в закрытом гробу, потому что смотреть было уже нельзя. Демьян — двадцать пять лет, и Джон помнил его руки, длинные пальцы, которыми он барабанил по столу, когда думал. Эти руки больше никогда ни по чему не барабанили.

Аспер.

Снаружи — ничего. Джон это знал точно, потому что выработал это в себе так же методично, как тренируют мышцу: ни один мускул не дрогнул. Плечи — прямо. Руки — свободно. Взгляд — ровный.

Внутри выжигало.

— Есть альтернатива? — спросил он.

Голос прозвучал почти вежливо. Почти — как вопрос о погоде. Он сам это оценил где-то в стороне, тем маленьким холодным углом сознания, который всегда наблюдал.

Лукас посмотрел на него долго. Не испытывающе — скорее устало, как смотрит человек, который знает ответ и не рад ему.

Потом качнул головой.

— Нет. — Небольшая пауза. — Это не просьба, Джон.

Ясно.

— Хорошо, — сказал Джон.

Одно слово. Ровное. Без сопротивления, без оговорок, без интонации, которую можно было бы за что-то ухватить.

Что-то мелькнуло в лице Лукаса — быстро, почти неза-

метно, но Джон был внимателен к чужим лицам профессионально. Не облегчение — что-то менее удобное. Беспокойство. Как будто он ждал другой реакции и то, что получил, его не успокоило.

Джон убрал это в память. Без комментариев. Просто — убрал.

— Подробности — завтра, — сказал Лукас. — Дерек подготовит документы.

Джон кивнул. Развернулся. Вышел.

Коридор был пуст.

Джон остановился. Три секунды, не больше — он это знал, потому что слышал, как часы за дверью отбили три удара коротким, деловым тиканьем.

Никого рядом. Первый раз за весь вечер — один.

Он не прислонился к стене. Не закрыл глаза. Просто стоял.

И позволил себе это почувствовать — всё разом, на три секунды, пока никто не видит.

Ярость была первой. Горячая, почти физическая — она поднималась от рёбер вверх и хотела куда-то деться, и некуда было. *Аспер.* Имя, которое он восемь лет держал как нож — острым, готовым, и никогда не клал в чужие руки. И теперь этот нож должен был лечь в другое место, лечь рядом с чужой постелью, с чужим именем, которое эта женщина носила.

Отвращение — второй слой, холоднее. К ситуации. К Лу-

касу, который это придумал. К себе, потому что сказал *хорошо* так легко, что это само по себе было чем-то, на что надо было потратить секунду.

А потом — третье. Тонкое, почти неприятное, как первый хруст льда под ногой, когда не знаешь, держит или нет.

Расчёт.

Дочь Стефано Аспера в его доме. В его доме, под его именем, в его власти.

Стефано Аспер — человек, которому было важнее всего на свете, что подумают о нём другие. Репутация. Союз. Кровь рода.

И его дочь — у Джона.

Джон выдохнул медленно.

Три секунды кончились.

Он пошёл по коридору — ровно, без спешки, как человек, которому есть куда идти и который уже знает зачем.

Дверь кабинета открылась без стука.

Лукас не обернулся — он стоял у окна спиной к Джону, и плечи его были совершенно неподвижны, как у человека, который заранее знает, что войдут, знает, когда, и устал удивляться. Старомодные часы на стене отбили половину. Дубовый стол между ними был пуст — ни бумаг, ни стакана воды. Только эта пустота, как нейтральная полоса.

Джон сел напротив кресла хозяина. Не спросил разрешения. Лукас наконец отвернулся от окна и занял своё место с видом человека, у которого есть весь день и который никуда

не торопится. Это всегда было его оружием — неспешность. Джон умел её не уважать.

— Мне нужна информация, — сказал он.

— Знаю.

Лукас сложил руки на столе. Не скрестил — именно сложил, ладонь к ладони, как складывают бумагу, которую собираются убрать в ящик.

— Лили Аспер. Двадцать два года. Живёт в поместье отца в Лацио. Публично почти не появляется. — Пауза. — Больше я не знаю.

Джон смотрел на него.

— Или делаете вид.

Лукас не отвёл взгляд.

— Или делаю вид, — согласился он спокойно, — что это меняет?

Ничего, собственно, не меняло. Джону не нужна была биография. Не нужны были любимые цвета, привычки за завтраком, список прочитанных книг. Ему было нужно одно: понять, насколько дочь близка отцу. Насколько её появление в доме Коулов будет для Стефано — болью.

Он представил это мельком, как вспышку: Стефано Аспер, узнающий, что его дочь теперь носит фамилию сына человека, которого он убил. Что она живёт под крышей семьи, которую он уничтожил. Что каждый раз, видя её, он будет видеть это. И ничего не сможет сделать — потому что сам же подписал союз, сам же привёл её на закланье, только не

знал, чьё это будет лезвие.

Что-то тёмное и почти удовлетворённое сдвинулось у него в груди. Не радость. Радость — неточное слово. Скорее — ощущение, когда давно разрозненные части наконец совпадают.

— Она выходит из поместья? — спросил он.

— Редко. — Лукас чуть помолчал. — Была какая-то работа. Приют для животных, кажется. Больше ничего.

Приют для животных.

Джон не позволил себе никакой реакции. Спрятал за этим же — ничем. Двадцать два года, поместье в Лацио, приют для животных — это не биография, это набросок человека, которого почти не видно снаружи. Замкнутая. Может, запущенная. Может, просто незначительная.

Неважно.

Лукас смотрел на него. Дольше, чем требовалось для обмена информацией. Этот взгляд Джон знал — взгляд человека, который что-то видит и ещё не решил, стоит ли говорить.

— Девочка не виновата в грехах отца, — произнёс Лукас наконец.

Тихо. Без нажима. Именно потому это было не замечанием — это было предупреждением.

Джон встретил его взгляд и не сказал ничего.

Тишина растянулась между ними, как кожа на барабанах — тугая, звенящая. В ней было всё, что Джон не произнёс,

и всё, что Лукас не решился потребовать. Оба слышали это молчание достаточно хорошо.

Лукас первым отвёл взгляд — не потому что уступил, а потому что выбрал другое направление атаки.

— Брак должен выглядеть как союз, — сказал он. — Не как война. Семья Кастильо не может позволить себе внутренних трещин перед лицом Фатильо. Любых. — Он выделил последнее слово без интонации, просто отдельно. — Ты понимаешь, что это значит.

— Понимаю.

Джон кивнул. Ровно, однократно, так, как кивают в ответ на информацию, которую уже получили и которую можно убрать в сторону.

Лукас смотрел на него ещё секунду — внимательно, как смотрят на предмет, который кажется знакомым, но что-то в нём изменилось. Потом он тоже кивнул. Принял кивок за обещание. Или сделал вид, что принял.

Оба знали, чего этот кивок стоит.

Джон поднялся. Застегнул пуговицу пиджака — механически, не глядя — и направился к двери. Паркет под ним не скрипел. В этом доме ничего не скрипело; всё было слишком хорошо подогнано, слишком тщательно выстроено. Лукас умел создавать иллюзию порядка.

— Джон.

Он остановился, не обернувшись.

— Я буду надеяться, — сказал Лукас за его спиной, — что

ты не перепутаешь цель.

Джон взялся за дверную ручку. Холодный металл. Привычный.

— Я никогда не путаю цели, — ответил он и вышел.

Огни Рима текли за тонированным стеклом — жёлтые, белые, красные пятна, которые ни к чему не обязывали.

Дерек вёл машину ровно, не торопясь. Он умел молчать правильно — не выжидаяще, не тревожно, а так, будто странство внутри джипа принадлежало тому, кто в нём нуждался. За восемь лет он научился читать Джона лучше, чем Джон был готов признать.

Счётчик на панели мигнул: 23:14.

Джон смотрел на огни.

Лукас сказал всё красиво. Союз, стабильность, будущее клана. Слова, которые в правильном порядке складываются в аргумент, против которого нечего возразить. Джон сидел в том кресле и кивал — ровно, без спешки, — и внутри него что-то очень холодное и очень старое пришло в движение.

Он заговорил первым.

— Брачный договор нужен на следующей неделе, — сказал он. — Черновик к пятнице.

Дерек не дёрнулся. Только плечи чуть поднялись — едва заметно, на сантиметр, — и так же опустились.

— Понял, — сказал он.

Несколько секунд. Впереди светофор переключился на зелёный. Джип плавно тронулся.

— Что именно ты планируешь с этим делать, — произнёс Дерек.

Не вопрос. Утверждение с открытым концом — его способ говорить о том, о чём говорить неудобно.

Джон повернул голову к окну.

— Стефано хочет союза, — сказал он. — Союз требует жертв. Он принесёт свою — дочь в дом врага. Пусть живёт с этим.

— А она?

— Что — она?

— Девушка. — Дерек сделал паузу. — Что она будет делать в доме врага?

Джон молчал секунду.

— Жить, — сказал он наконец. — Под моей крышей. На виду у отца — живая напоминалка о том, что он выбрал.

Дерек кивнул медленно — тем кивком, который означал не согласие, а принятие к сведению. Джон знал разницу.

— Максимально жёсткий договор, — продолжил Джон. — Без уступок по имуществу, без отдельных счетов, без оговорок о возврате. Она переходит под контроль семьи Коул полностью. Стефано подпишет — ему нужна наша защита от Фатильо больше, чем ему нужна дочь.

Огни Рима текли дальше. Старая церковь промелькнула справа — тёмный силуэт, подсвеченный снизу жёлтым прожектором. Джон смотрел на неё, пока она не исчезла за поворотом.

— Джон.

Голос Дерека был ровным. Осторожным — не заискивающим, нет, Дерек никогда не заискивал — а таким, каким бывает голос человека, который знает, что сейчас скажет что-то ненужное, и всё равно говорит.

— Девушка — не Стефано.

Джон повернул голову.

Дерек смотрел на дорогу, но шею держал прямо — не вжимался в плечи, не уклонялся. Восемь лет рядом давали ему это право: говорить, не отводя взгляда, даже когда умнее было бы промолчать.

Джон смотрел на него три секунды. Четыре. Дерек не обернулся.

Потом Джон снова повернулся к окну.

— Договор к пятнице, — повторил он.

Дерек больше не говорил. Кивнул один раз, коротко, — и тишина между ними стала другой. Не пустой. Плотной. Дерек в ней явно думал что-то, что не собирался произносить вслух; Джон явно не собирался спрашивать.

За стеклом тянулся ночной Рим — живой, шумный, равнодушный. На углу двое смеялись над чем-то. Женщина в красном пальто ловила такси. Официант выносил стулья из-под навеса уличного кафе, готовясь закрываться.

Джон смотрел на всё это и не видел ничего.

Он видел другое.

Закрытые гробы — два, рядом. Лакированное дерево под

февральским солнцем, которое светило совершенно не позимнему, и это бесило его тогда почти физически. Мать в чёрном — прямая, как всегда, но руки в перчатках сжаты так, что суставы побелели даже сквозь ткань. Роза рядом — тринадцать лет, слишком маленькая для такого чёрного платья, и Джон помнил, как она не плакала, а просто смотрела на гробы с выражением, которого дети не должны знать.

Он стоял между матерью и сестрой и не плакал тоже. Плакать было позже, ночью, в пустом кабинете отца, — один раз, последний, — а потом это место внутри закрылось и стало чем-то другим. Твёрдым. Полезным.

Стефано Аспер не пришёл на похороны.

Конечно, не пришёл. Умные люди не приходят на похороны людей, которых убили.

Джон смотрел на огни Рима и думал: шесть лет. Шесть лет — это не срок давности, это прицел. Чем дольше ждёшь, тем точнее бьёшь.

Дерек притормозил у светофора. Красный.

— Девушка — не Стефано, — сказал Джон вслух, тихо, почти сам себе. Попробовал эту фразу на вкус. — Нет. Но она его плоть и кровь. И она будет жить в моём доме, и Стефано будет знать об этом каждый день. Этого достаточно.

Дерек молчал.

Светофор переключился. Джип тронулся.

Решение было принято раньше, чем Лукас успел закончить свою речь об альянсах и будущем клана. Джон просто

ждал, пока оно оформится в слова — холодные, правильные, без лишних частей. Брак. Договор. Инструмент.

Он не думал о том, как выглядит девушка. Не думал, сколько ей лет. Это не имело значения — так же, как не имеет значения, удобно ли держать нож.

Главное — куда бьёшь.

Дерек молчал уже минут пять, и Джон успел забыть о его присутствии.

За окном тянулись огни Рима — размытые, как горящие угли сквозь стекло, — и Джон смотрел в них без всякой мысли. Точнее, с одной мыслью, которая не требовала слов. Просто лежала в груди, тяжёлая и отчётливая, как камень на дне колодца.

— Ещё один вопрос, — сказал Дерек.

Голос у него был тихий. Почти извиняющийся. Джон не повернулся.

— Последний, — добавил Дерек, как будто это что-то меняло. — Что если она окажется не такой, какой ты её представляешь.

Не вопрос. Скорее — мысль, брошенная в темноту салона. Дерек не ждал ответа; он просто обозначил пропасть, в которую Джон уже смотрел, и отошёл в сторону.

Джон не ответил.

Не потому что не слышал. И не потому что не понял.

Просто в его голове не было никакой девушки, которой можно было бы «оказаться» или «не оказаться». Было имя

— Аспер. Было лицо — не её, другое. Более старое. С той же костью скул, с той же линией подбородка, которую он видел два года назад в прицел и не нажал на курок, потому что Лукас сказал: *не время*.

Не время.

А Демьяну в тот год исполнилось двадцать два.

Джон закрыл глаза на секунду. За опущенными веками — ничего особенного. Просто темнота, в которой иногда возникают вещи, которых ты не просил. Демьян смеётся над чем-то, чего Джон уже не помнит. Отец сидит за столом с газетой, которую не читает, а только делает вид. Обычный вечер в обычном доме, который перестал существовать в конкретный четверг, в конкретные семь часов вечера, по конкретному приказу.

Приказ отдал Стефано Аспер.

Джон открыл глаза.

Дочь Стефано — абстракция. Строчка в договоре. Он не знал, как она выглядит, о чём думает, есть ли у неё какая-нибудь жизнь за стенами отцовского поместья. Не его дело. Не имело значения. Человеком она станет тогда, когда у него будет причина делать её человеком — а причины не было и, по всей вероятности, не появится. Инструмент не нуждается в биографии.

Это была чистая мысль. Удобная. Джон держал её ровно столько, сколько она держалась сама.

Потом — секунда, короткая, почти незаметная, как тре-

щина в стекле — что-то двинулось не так.

А если Лукас прав.

Три слова, которые он не позвал. Они пришли сами — из той части головы, которая иногда работает независимо и которую Джон давно научился не слушать. Лукас сказал: *она не виновата*. Лукас сказал: *не делай из девчонки мишень*. Лукас говорил много чего, и половина из этого была правдой, потому что Лукас редко ошибался в расчётах.

Джон взял эту секунду — взял её двумя пальцами, как берут спичку, — и погасил.

Не потому что Лукас ошибался. А потому что это не имело значения.

Демьяну не дали вырасти. Не дали стать кем-то, не дали совершить собственные ошибки, не дали ни одного шанса. Его просто убрали, как убирают помеху. И человек, отдавший этот приказ, живёт в поместье в Лацио, пьёт своё вино, принимает союзников и теперь хочет породниться с семьёй Коул.

Хочет считаться своим.

Джон позволит ему это почувствовать. Именно это — и больше ничего.

— Семья не знает, — сказал он вдруг. Не Дереку. Просто — вслух, потому что это был факт, который нужно было произнести, чтобы он стал настоящим. — Скажу завтра.

Дерек не ответил. Умный человек.

Машина свернула на подъездную аллею, гравий хрустнул

под колёсами, и особняк Коулов вырос из темноты — тёмный камень, светлые окна, живое золото за стёклами. Мартин, должно быть, ещё не спит. Мать тоже. Роза, может, уже — но вряд ли, она никогда не ложилась раньше полуночи, когда Джон был в отъезде.

Они сидят там и не знают.

Джон смотрел на эти окна долю секунды дольше, чем нужно. Просто смотрел. Что-то похожее на усталость — не физическую, другую — прошло по груди и ушло, не задержавшись.

Он вышел из машины, не прощаясь с Дерекком. Закрыв дверцу. Услышал, как машина разворачивается и уходит по аллее.

Гравий под ногами. Холодный воздух, пахнувший хвоей и где-то далеко — выхлопом. Освещённый дверной проём.

Джон поднялся по ступеням и вошёл внутрь.

Завтра он им скажет.

Глава 3

Дочь убийцы

Дыхание оседало паром на стекле.

Джон стоял у окна спальни, не подходя вплотную — просто смотрел, как во дворе двое охранников меняют пост, как Витторе, толстый и медлительный, несёт поднос с кофе к будке при воротах, как Марко курит у фонтана, пряча сигарету от камер. Обычное утро. Привычный ритм, выверенный до секунды.

Он поднялся раньше всех. Не потому что не мог спать — он спал как всегда, без сновидений, четыре часа, достаточно. Просто хотел побыть здесь, у этого окна, пока дом ещё не проснулся и пока всё вокруг ещё не знало о том, что он собирается сделать.

Вчерашний вечер. Лукас. Подпись.

Он сжал зубы и снова расслабил — привычным усилием.

Всё было правильно. Всё было рассчитано. Брачный договор к пятнице, Дерек справится. Переезд девушки — через три недели. Свадьба — меньше чем через месяц. Стефано Аспер увидит имя своей дочери в документах семьи Коул и поймёт, что это значит: мы держим то, что тебе дорого. Мы держим — и ты не можешь ничего.

Джон повторил это про себя, как формулу. Чётко, без лишних слов.

Марко докурил. Раздавил окурок о постамент фонтана, сунул в карман — не бросил, значит, помнит правила. Витторе вернулся без подноса. Ворота автоматически закрылись за машиной с продуктами.

Всё как всегда.

Он заставил себя подумать о том, что именно скажет матери.

Мама, я женюсь.

Нет.

Лукас приказал мне жениться на дочери Аспера.

Хуже.

Её зовут Лили. Лили Аспер. Ей двадцать два года.

Каждое слово — как пощёчина, которую он наносит сам себе, проговаривая. Как будто уже слышит, что они скажут в ответ. Мать — нет, мать сначала ничего не скажет. Мать смотрит на него так, что молчание становится громче любого слова. Роза скажет всё. Она всегда говорит всё.

Дочь Стефано Аспера. Убийцы.

Джон отвернулся от окна.

Лили Аспер — инструмент. Не человек, не жертва, не виноватая и не правая. Инструмент. Рычаг. Подписанный документ, живой и дышащий, который он разместит в этом доме — под именем Коул — и Стефано будет знать, будет видеть и понимать всё, что это означает. Чужая собственность в руках врага. Его кровь под чужой фамилией.

Джон повторил это медленно, как мантру.

Инструмент.

Расчёт, не слабость.

Он подошёл к умывальнику, открыл холодную воду, опустил лицо. Вода обожгла — хорошо. Он смотрел на свои руки под струёй: широкие ладони, несколько белых шрамов поперёк правого запястья — старые, давние. Руки, которые умеют делать то, что нужно. Он умывался медленно, без спешки, потому что спешка — тоже слабость, её учуют сразу.

Полотенце. Кофта. Джинсы.

Он застегнул ремень, посмотрел в зеркало — и посмотрел равнодушно, как смотрят на незнакомца. Всё нормально. Всё под контролем.

А потом снизу донёсся голос матери.

Смех.

Не громкий — просто обычный, утренний, тихий смех, который она издаёт, когда Мартин говорит что-то нелепое за завтраком. Джон знал этот смех так же, как знал запах кофе на первом этаже и скрип третьей ступени. Мать смеялась — значит, Мартин уже внизу, значит, Роза, скорее всего, тоже, потому что она всегда спускается раньше, чем успевает проснуться окончательно, и сидит насупленная над чашкой, пока кофе не кончится.

Джон стоял неподвижно.

Что-то в груди — не боль, нет, что-то другое — сжалось и не отпустило.

Он подумал о том, что они ещё не знают. Что сейчас, в эту

минуту, пока он стоит здесь и держит в голове формулу — *инструмент, расчёт, не слабость* — они сидят там и смеются, и этот смех не знает о том, что через несколько минут он войдёт в столовую и разрушит его. Не навсегда. Но надолго.

Голос матери стих.

Джон сделал шаг к двери, взялся за ручку и задержался на секунду — ровно на секунду, не дольше.

Потом опустил плечи. Не для того чтобы расслабиться — для того чтобы никто не увидел, что он их поднял.

И вышел.

Солнце уже стояло высоко, когда он спустился вниз.

Столовая жила своей обычной жизнью — той самой, что продолжалась здесь каждое утро последние десять лет и которую он, кажется, никогда по-настоящему не замечал. Мать сидела во главе стола, держа чашку кофе обеими руками, как всегда делала зимой, хотя за окном было уже не холодно. Мартин что-то листал в телефоне, жуя тост без особого интереса. Роза — с ногами на стуле, которые она немедленно прятала, стоило войти кому-то чужому, но при нём не считала нужным — читала что-то с экрана и изредка хмыкала.

Джон остановился в дверях на секунду дольше, чем следовало.

Он знал, что эта картина изменится через тридцать секунд. Что после его слов что-то здесь сломается — не навсегда, может быть, но достаточно надолго. И что он сам это ломает.

— Джон, — мать подняла взгляд, — ты завтракал?

— Нет.

Он вошёл и остановился у торца стола, не садясь. Не потому что хотел этим что-то обозначить — просто не мог сесть. Слова лежали у него в горле как камень, и он понял: предисловия только затянут это.

— Мне нужно вам кое-что сказать.

Мартин поднял голову. Роза убрала телефон с привычным раздражённым видом — она всегда так делала, когда чувствовала, что сейчас скажут что-то, что потребует от неё внимания.

Мать ничего не сказала. Просто смотрела на него, и в её взгляде уже было что-то — не страх, но готовность к нему. Двадцать лет жизни с мафиозным боссом учат читать лица.

— Я женюсь, — сказал он. — Лукас принял решение. Союз против Фатильо — нам нужна семья Аспер. Невеста — Лили. Дочь Стефано.

Тишина накрыла комнату мгновенно и полностью.

Джон слышал, как тикают часы в коридоре. Как далеко на улице сигналиит машина. Как мать выдыхает — медленно, почти неслышно, словно выпускает что-то, что держала внутри очень долго.

Потом он увидел её глаза.

Она не вскрикнула. Не уронила чашку. Слезы появились тихо — те самые, от которых у него каждый раз что-то происходило с грудиной, потому что истерику он мог бы выдер-

жать, а вот это — молчаливое, достойное, страшное — нет.

— Мам, — начал он.

— Молчи.

Голос её был ровный. Только руки, сжавшие чашку, побелели в суставах.

— Роза, — Мартин тихо произнёс сестрино имя — предупреждение или просьба, Джон не разобрал.

Но было уже поздно.

Роза встала так резко, что стул скрипнул по плитке.

— Дочь Стефано, — повторила она, и в её голосе было что-то такое, от чего слова звучали как пощёчина. — Ты сказал — дочь Стефано Аспера? Человека, который убил папу? Который убил Демьяна?

— Роза.

— Нет, — она покачала головой, и голос сорвался — не в слёзы, в ярость, что было хуже. — Нет, ты не можешь просто вот так войти и — ты понимаешь, что ты говоришь? Ты приведёшь её сюда? В этот дом? Ты посадишь её за этот стол?

— Это приказ Лукаса. Союз с семьёй Аспер нужен, чтобы выдавить Фатильо с—

— Мне плевать на Фатильо! — Голос сорвался окончательно, и она прижала ладонь ко рту, как будто сама испугалась своих слов. Потом убрала руку. — Папа лежит в земле. Демьян лежит в земле. А ты привезёшь в этот дом его дочь и скажешь нам улыбаться ей за завтраком?

Джон не ответил.

Потому что ответа у него не было. Потому что она была права — и потому что это не имело никакого значения.

Мартин смотрел на него молча. Без ярости, без слёз — с каким-то выражением, которое Джон не мог прочесть, и это было почти хуже всего остального. Мартин всегда был понятен ему. Сейчас — нет.

— Политическая необходимость, — произнёс Джон, и слова прозвучали именно так, как и должны были прозвучать: правильно и совершенно пусто. — Брак закрепляет союз. Семья Аспер получает защиту Кастильо, мы получаем их территории и ресурсы против Фатильо. Это не обсуждается.

— Ты говоришь как Лукас, — сказала мать.

Она произнесла это тихо, почти без интонации. Вытерла слёзы одним движением, аккуратно, как человек, который давно научился не позволять им течь слишком долго. Поставила чашку на блюдце.

И посмотрела на него.

Джон почувствовал, как что-то острое ударяет его где-то под рёбрами — неожиданно, некстати, совершенно не к месту. Он не ожидал этого. Не ожидал, что будет так больно просто стоять здесь и смотреть на её лицо.

Он принял решение вчера ночью. Он принял его холодно, точно, без колебаний — как всё остальное. Лили Аспер станет его женой, и само её присутствие в этом доме, само её имя — Коул, произнесённое там, где Стефано может услышать — будет разъедать старика изнутри каждый день. Это

было правильно. Это было нужно.

Он не ожидал, что мать будет смотреть на него вот так.

— Свадьба через три недели, — сказал он. — Я хотел, чтобы вы знали заранее.

Роза вышла из столовой, не ответив. Дверь она не хлопнула — просто ушла, и её отсутствие заняло собой всё пространство.

Мартин наконец отложил телефон. Встал, подошёл к окну, постоял там спиной к нему несколько секунд.

— Ты уверен? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да.

Мартин кивнул — медленно, как человек, который принял что-то, не соглашаясь с этим.

— Хорошо.

Он вышел следом за Розой. И они остались вдвоём — он и мать, и тишина между ними, которая была намного громче всего, что только что здесь прозвучало.

Мать сидела прямо. Руки сложены на столе. Взгляд — на нём.

Джон выдержал этот взгляд. Он умел выдерживать многое.

Но что-то в этой комнате сейчас было острее пули.

Дверь столовой грохнула так, что люстра чуть дрогнула.

Джон смотрел в окно. Сад за стеклом был тёмным, почти чёрным — садовники ещё не включили подсветку дорожек, и всё растворялось в мартовских сумерках, как будто не бы-

ло ни деревьев, ни стен, ни чего угодно за пределами этой комнаты.

Позади него слышались шаги Мартина. Медленные, тяжёлые — он всегда ходил так, когда не знал, что сказать. Джон не обернулся. Ждал, когда брат тоже уйдёт, потому что он уйдёт, Мартин всегда давал ему пространство, когда понимал, что слова не нужны.

Рука легла ему на плечо.

Одна секунда. Может, две. Тяжёлая, тёплая ладонь — и всё.

Потом шаги снова, и скрип второй двери, уже тихий, аккуратный, как Мартин умел закрывать её, чтобы не добавлять к уже сказанному ни единого звука.

Джон почувствовал, как что-то в груди сжалось и почти треснуло.

Почти.

Он не позволил.

Мать сидела за столом. Он слышал, как она вытирает лицо — тихий шорох ткани, прерывистый вдох. Мартина не плакала громко. Никогда. Это было хуже, чем если бы плакала — эта тишина между всхлипами, этот контроль, который она держала даже тогда, когда незачем было.

Он обернулся.

Она смотрела на него. Глаза красные, руки сложены на столе — аккуратно, как на молитве, только пальцы слишком сильно сцеплены.

— Ты понимаешь, что делаешь с этой девочкой?

Не с Лукасом. Не с союзом. Не с семьёй Фатильо и не с тем, что будет, если они не остановят их сейчас.

С этой девочкой.

Джон на секунду почувствовал, как слова застряли где-то между лёгкими и горлом, не желая двигаться ни вверх, ни вниз.

— Она дочь Стефано Аспера, — сказал он наконец.

Голос вышел ровным. Таким, каким должен был выйти.

Мать качнула головой.

Медленно. Как будто она уже слышала этот ответ — раньше, чем он успел его произнести, раньше, чем он сам понял, что скажет именно это. Как будто она ждала его весь вечер и устала от него задолго до того, как он вошёл в эту комнату.

— Джон.

В том, как она произнесла его имя, не было ни упрёка, ни требования. Только что-то очень усталое, очень давнее.

— Кристиан не хотел бы этого.

Имя отца упало в тишину, как камень в воду — и дальше были только круги, расходящиеся в разные стороны, тихо и неостановимо.

Джон не двигался.

Он смотрел на мать, и видел — не её руки, не слёзы, не усталость вокруг её глаз — видел что-то другое, дальнее, то, что жило где-то в районе рёбер и молчало последние восемь лет. Молчало и копилось.

Отец не хотел бы этого.

Отца не было.

Два слова, которые каждый раз звучали в нём как-то не так — не как факт, не как данность, а как ошибка, которую никто не потруился исправить. Кристиан Коул был живым человеком, который по утрам пил кофе слишком горячим и вечером засыпал в кресле перед телевизором, и чья-то рука подписала его смерть, как подписывают документы — не задумываясь, не медля.

Рука Стефано Аспера.

Джон не ответил.

Мартина не ждала ответа. Может, поняла это раньше, чем спросила.

Тишина между ними была долгой. Не той, которую нужно было заполнить, — другой, из тех, что живут в домах, где произошло что-то непоправимое и все научились в них дышать.

Потом мать встала.

Она подошла к нему — не торопясь, без лишних движений. Встала перед ним, и Джон смотрел на неё сверху вниз, как смотрел всю взрослую жизнь, и всё равно где-то внутри был тот мальчик, который смотрел снизу вверх, потому что она была выше всего.

Она взяла его лицо в ладони.

И поцеловала его в лоб.

Как в детстве. Как тогда, когда он приходил к ней с разби-

тым коленом или с кошмаром, от которого просыпался посреди ночи. Как тогда, когда слова ничего не решали и оставалось только это.

Он закрыл глаза.

Одну секунду — только одну — позволил себе это.

Потом она убрала руки, и шаги удалились по коридору, и дверь закрылась, и он снова был один.

Столовая казалась больше, чем была. Или меньше — Джон не мог сказать. Пространство вокруг него сделалось каким-то ненастоящим, как будто стены слегка сдвинулись, пока никто не смотрел.

Он остался стоять там, где стоял.

За окном сад по-прежнему тонул в темноте.

Кристиан не хотел бы этого.

Может. Наверное. Отец никогда не хотел крови, если можно было без неё — это Джон помнил хорошо, помнил как отдельную черту, которую в детстве не понимал, а теперь понимал слишком хорошо, чтобы с ней соглашаться.

Но отец умер.

И Демьян умер.

И никто не спрашивал, чего они хотели бы.

Джон поднял взгляд к потолку — туда, где свет люстры ложился ровными кругами на белую лепнину. Выдохнул медленно. Один раз. Потом ещё.

Он дочь Стефано Аспера. Это единственное, что имело значение.

Это единственное, что должно было иметь значение.

Мать ушла.

Джон не слышал, как она поднялась по лестнице, — просто в какой-то момент осознал, что столовая опустела. Стул, на котором она сидела, был чуть отодвинут. На скатерти осталась смятая салфетка — Мартина сжимала её в руках всё это время, а потом, видимо, оставила. Как якорь, который больше не держит.

Он не двинулся с места.

Она сказала «Кристиан» — вот и всё. Просто имя. Произнесла его так, как произносят что-то, что уже невозможно вернуть, — тихо, без усилия, как будто имя само упало с губ. Кристиан. Кристиан. Кристиан.

Джон закрыл глаза.

Дождь.

Он помнил его раньше всего остального. Мелкий, осенний, равнодушный. Небо не разверзлось, не загремело — просто сеяло сверху, как сеет в октябре, методично и без злобы. Трава на кладбище блестела. Чёрная земля у края ям была свежей, рыхлой, похожей на рану.

Два гроба.

Тёмное дерево, полированное до холодного блеска, закрытые крышки. Закрытые — потому что открывать было нельзя. Потому что смотреть на то, что от них осталось, было нельзя.

Джону было семнадцать лет. Он стоял прямо и смотрел на крышку ближнего гроба, на потемневшую от дождя древесину, на латунные ручки, на маленький крест в изголовье, — и думал о том, что внутри лежит его отец, но этот факт не укладывался ни в какую форму, не помещался ни в одно известное ему слово.

Рядом стояла Мартина. Чёрное пальто, чёрная вуаль, чёрные перчатки. Она не плакала — она уже отплакала своё, где-то раньше, в другом месте, которое Джон не видел, — а сейчас просто стояла, как стоят люди, когда не осталось ничего, что можно сделать. Мартин стоял рядом. Ему было четырнадцать. Роза была совсем маленькой — четыре года, чуть больше четырёх, — её держала на руках какая-то женщина, соседка или дальняя родственница, Джон не запомнил. Роза не плакала. Она смотрела на всё широко открытыми глазами, и в этих глазах не было страха — только огромное, ничем не заполненное удивление.

Священник говорил что-то. Слова падали в дождь и тонули.

Демьян.

Демьяну было двадцать два. Он показывал Джону, как держать удар — они боксировали в гараже, старые перчатки, скрипучий пол, — и смеялся, когда Джон промахивался. «Ещё раз. Смотри на меня, не на руки». Он умел делать яичницу ровно так, чтобы желток оставался жидким, и это было единственное блюдо, которое он умел делать. Он боялся

высоты и никогда в этом не признавался. Он любил слушать музыку слишком громко, и отец кричал на него через весь дом, и Демьян убавлял звук ровно настолько, чтобы можно было слышать отцовские шаги в коридоре, и снова прибавлял, как только шаги удалялись.

Два закрытых гроба.

Когда священник замолчал и люди начали медленно расходиться, Джон не двинулся с места. Мартина взяла его за плечо — он почувствовал давление её ладони, тёплое даже сквозь пальто, — но он не пошёл. Просто стоял. Она не стала настаивать.

Он подождал, пока все отойдут достаточно далеко.

Потом сделал шаг вперёд и опустил руку на крышку гроба — того, что стоял ближе. Дерево было холодным. Дождь продолжал идти. Где-то за его спиной негромко переговаривались люди, скрипели по мокрой траве ботинки, плескалась вода.

Он не сказал ничего.

Слова казались ему смешными — маленькими, жалкими, не соответствующими тому, что лежало внутри этого ящика из полированного дерева. Клятвы казались ему детскими. Он не давал обещаний вслух, не произносил имён. Он просто держал руку на холодном дереве, под мелким дождём, в тринадцать лет, и понял одну вещь — понял так, как понимают что-то непоправимое, без слов и без драмы.

Он будет делать это всю жизнь.

Стефано Аспер закрыл эти гробы. И Джон доживёт до того дня, когда сможет посмотреть ему в глаза и сказать: ты заплатил.

Он открыл глаза.

Столовая. Пустая, тихая. На скатерти — смятая салфетка матери. На подоконнике — мелкий дождь по стеклу, почти такой же, как тогда. Холодный кофе на столе, чашка сдвинута на край — он, наверное, задел её локтем, сам не заметил.

Тринадцать лет.

Тринадцать лет этот холод живёт у него где-то под рёбрами, в том месте, куда не добраться, — и Джон давно перестал пытаться его оттуда вытащить. Он просто носил его, как носят старый осколок: глубоко, неудобно, привычно.

Решение не изменилось.

Оно не менялось с того октябрьского утра у двух закрытых гробов. Сейчас ему было тридцать лет, и у него было имя, оружие, власть и невеста с фамилией убийцы. И он доведёт это до конца — с плачущей матерью за спиной или без, с чистой совестью или без, — потому что обещания, данные мёртвым, не имеют срока давности.

Он взял чашку с холодным кофе и медленно поставил её обратно на блюдце.

Дождь за окном продолжал идти.

Мартин вернулся один.

Джон слышал его шаги ещё в коридоре — неторопливые, не как у Розы, которая всегда ступала так, будто хотела про-

бить паркет насквозь. Он не поднял головы. Стоял у окна, смотрел на сад, где ничего сейчас не происходило, — просто трава, просто деревья, просто серое октябрьское небо над Римом.

Дверь закрылась с мягким щелчком.

Мартин не сказал ничего. Подвинул стул, сел — Джон краем зрения видел это движение, знакомое с детства: брат всегда садился именно так, чуть развернув спинку в сторону, как будто не до конца решил, остаётся он или нет.

Тишина держалась долго.

За окном ворона приземлилась на ветку каштана, покачалась и улетела. Джон проследил за ней взглядом — машинально, без мысли.

— Это из-за отца? — спросил Мартин.

Голос у него был тихий. Не обвинительный — просто тихий, как у человека, который спрашивает, потому что хочет понять, а не потому что уже знает ответ и готовит приговор.

Джон не ответил сразу.

Слова нашлись — короткие, правильные, те, что не позволяли войти слишком глубоко — но он не торопился их произносить. Стоял и смотрел на сад, на пустую ветку, откуда улетела ворона.

— Это из-за всего.

Мартин помолчал. Джон знал, что брат сейчас обдумывает это — перекладывает так и эдак, как перекладывают камень, чтобы понять, насколько он тяжёл.

— Ненавидеть Стефано — понятно, — сказал он наконец. Не «я тебя понимаю», не «на твоём месте я бы тоже». Просто — понятно. — Но она. Эта девушка. При чём она?

Джон обернулся.

Он сделал это не потому, что хотел отвечать. Просто вопрос был задан не в спину, а вслед, и что-то в нём зацепилось — не слова, а то, как Мартин произнёс «она». Без злобы. Без укора. С каким-то тихим недоумением, которое было, пожалуй, честнее всего, что прозвучало в этом доме за последние часы.

Он посмотрел на брата.

Мартину было двадцать семь. Он был похож на отца больше, чем Джон, — та же линия скулы, тот же прямой, немного тяжёлый взгляд. Сейчас этот взгляд ждал.

И впервые за утро — впервые с тех пор, как он сел за стол и сказал матери про невесту, и слушал, как рушится воздух в комнате, — Джон почувствовал что-то, кроме льда.

Не оттепель. Просто — трещину в нём.

— Лили Аспер, — произнёс он ровно. — Это то, что Стефано любит больше всего.

Он мог бы остановиться. Должен был остановиться.

— Взять её — значит взять у него что-то настоящее. Не деньги, не землю. Не человека, которого можно заменить. Дочь. Единственную.

Слова выходили правильно. Логично. Точно так, как он их формулировал ночью, глядя в потолок своего кабинета.

Инструмент. Стефано отдаст дочь врагу — и каждый день, пока она будет жить в этом доме под именем Коул, он будет знать, что это сделал Джон. Что это сделал сын Кристиана Коула.

Это была правда.

Но где-то глубоко, там, куда Джон не смотрел, — или старался не смотреть, — что-то укололо. Мелко, почти незаметно. Как заноза под кожей, о которой не думаешь, пока случайно не надавишь.

Он надавил — и отпустил.

Мартин не ответил сразу.

Сидел, опустив взгляд на собственные руки, сложенные на колене. Джон смотрел на него и ждал — чего именно, сам не знал. Согласия, наверное. Или хотя бы молчания, которое можно принять за согласие.

Мартин поднял голову.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

Он не сказал этого с вызовом. Не бросил через плечо, уходя. Произнёс тихо, глядя Джону в глаза — и именно поэтому это ударило сильнее, чем если бы кричал.

Потом встал, поставил стул на место — аккуратно, почти бесшумно, — и вышел.

Дверь снова закрылась.

Джон остался один с тишиной и с фразой брата, которая теперь висела в комнате, как дым от погашенной свечи. Не обвинение. Не вопрос. Просто — надежда. Тихая, почти

невыносимая в своей простоте.

Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

Он не был уверен.

Это было новостью — плохой, ненужной, той, которую следовало задавить раньше, чем она успела оформиться в слова. Джон всегда знал, что делает. Это было основой, фундаментом, тем, на что он опирался с двенадцати лет — с того дня, когда стоял у двух гробов под октябрьским небом точно-точно таким же серым, как сегодня, и понял, что больше не может позволить себе не знать.

А сейчас — не был уверен.

Он снова повернулся к окну.

Каштан стоял неподвижно. Ветка была пустой.

Он написал Дереку в четверть двенадцатого.

Коротко, как всегда. Без лишнего.

Договор к пятнице. Я еду в субботу.

Телефон лёг на стол экраном вниз. Джон смотрел на него секунду — ровно столько, сколько требовалось, чтобы убедиться: рука не дрогнула, мысль не споткнулась. Всё правильно. Всё по плану.

За окном Рим жил своей ночной жизнью. Далёкий гул машин, смазанный свет фар сквозь тёмное стекло, чьи-то голоса где-то внизу — охрана меняла пост. Обычная ночь. Ничего не изменилось.

Ничего не изменилось, — повторил он про себя, как будто это требовало повторения.

Семья примет. Мать — примет, как принимала всё остальное: похороны в закрытых гробах, пустые стулья за столом, его первый выстрел в шестнадцать лет, когда она зашла в подвал и увидела, чем занимается её сын. Мартина Коул умела принимать то, что не могла изменить. Она научилась этому задолго до того, как Джон понял, как это работает. Сначала будет горе. Потом — тишина. Потом — утро, и кофе, и жизнь, которая не останавливается, потому что никогда не останавливалась.

Роза успокоится. Она взорвётся — уже взорвалась сегодня, он ещё чувствовал в ушах её голос, — но Роза всегда выгорала быстро. Ярость у неё была как бумага: горела ярко, гасла без следа. Через неделю она просто не будет разговаривать с ним. Это терпимо.

Мартин поймёт. Мартин всегда понимал — не сразу, со скрипом, через сопротивление и неудобные вопросы, — но в конце концов понимал. Сегодня вечером он смотрел на Джона так, как смотрел в детстве, когда старший брат делал что-то, что не укладывалось в его голове. С тем же выражением — не осуждение, нет. Скорее попытка собрать картину заново, когда какая-то деталь оказывается не на том месте.

Джон провёл рукой по лицу. Потом убрал руку.

Сел. Поднял телефон снова — не потому что ждал ответа от Дерека, а потому что привычка требовала действия, когда голова начинала работать вхолостую.

Файл с информацией об Аспер всё ещё был открыт.

Лили Аспер. Двадцать два года. Фотография — официальная, сделанная на каком-то закрытом приёме года три назад. Темноволосая. Смотрит не в камеру. Почти не появляется публично. Связи практически нет — ни деловых, ни социальных. До свадьбы отца жила в поместье в Лацио безвылазно.

Переменная. Не более.

Стефано хотел союза — получит его. И каждый день, пока дочь будет носить фамилию Коул, он будет это чувствовать. Оскорбление, зашитое в законный брак. Унижение, оформленное нотариально. Джон не мог взять у него то, что тот взял у семьи Коул, — не пока Лукас держал его за горло необходимостью этого союза, — но он мог сделать так, чтобы каждая страница договора резала. Чтобы каждая буква в документах жгла.

Он листал файл дальше. Без интереса, механически.

Работала в приюте для животных. Волонтёр, затем оплачиваемая ставка. Последнее посещение — восемь месяцев назад.

Джон остановился.

Не потому что это было важно. Потому что зацепилось — как заноза, как нитка на гвозде, без причины и смысла. Дочь мафиозного босса, которую держат под замком в поместье, ездила в приют для животных. Не на благотворительный ужин, не на показательную акцию с фотографами. В приют. Работала.

Зачем?

Он поймал себя на этом вопросе и убрал его. Не важно. Совсем не важно — почему, что за этим стоит, что это говорит о ней. Не его дело. Он не изучал её, чтобы понять. Он изучал её, чтобы знать, с чем работает.

Переменная. Инструмент. Средство.

Файл закрылся. Телефон снова лёг на стол.

Джон встал. Застегнул верхнюю пуговицу пиджака — жест автоматический, давно выработанный: одеться правильно, даже когда никто не смотрит, потому что это держит. Порядок в деталях — порядок в голове. Его отец учил этому. Кристиан Коул всегда появлялся за столом в пиджаке, даже когда дома не было никого чужого.

Он подошёл к окну.

Рим лежал внизу — живой, равнодушный, вечный. Огни домов, полоска шоссе вдаль, тёмное небо без звёзд — облака затянули ещё с вечера. Где-то там, за полтора часа езды на юг, в поместье в Лацио, в комнате с тремя полками книг — он помнил эту деталь из файла, она тоже зацепилась без разрешения, — жила девушка двадцати двух лет, которая не знала, что её жизнь уже решена.

Что в субботу за ней приедет человек, которому она нужна не сама по себе.

Что её имя уже вписано в документ, который Дерек заканчивает прямо сейчас.

Джон смотрел на Рим и ждал чего-то похожего на правоту.

На то ощущение, которое должно было прийти, когда план, выношенный три года, наконец обретает конкретные очертания. Удовлетворение. Холодное торжество. Что угодно.

Пришла только усталость.

Он не стал её называть. Не позволил ей занять место в голове рядом с тем, что уже стояло там — два гроба, закрытые крышками, мать, которая держалась, потому что кто-то должен был держаться, запах земли и цветов, которые он ненавидел с тех пор. Усталость была слабостью. Слабость была роскошью, которую Коулы не могли себе позволить.

Он отвернулся от окна.

Суббота. Лацио. Лили Аспер.

Всё остальное — после.

Глава 4

Человек в кабинете отца

За окном — сад, который она любила утром и который к полудню становился чужим. Сейчас был час после полудня. Свет лежал на траве неподвижно, как будто тоже ждал.

Джип она заметила раньше — ещё когда стояла у окна с чашкой кофе, которого не допила. Тонированный, длинный, с номерами, которые здесь не встречались. Не гости на ужин. Не нотариус, которого отец вызывал по четвергам. Нотариус приезжал на синем «пежо» с поцарапанным бампером, и Лили давно выучила эту машину так же, как выучила все звуки этого дома — чтобы знать, откуда ждать.

Потом были голоса. Она не слышала слов — только тембр: незнакомый, мужской, ниже, чем голос отца, без той тягучей вкрадчивости, которую она научилась распознавать за много лет. Голос деловой. Не тот, каким разговаривают за ужином.

Потом — тишина.

Именно тишина была самым тревожным. Когда в доме замолкали голоса, это обычно означало одно из двух: либо люди ушли, либо перешли туда, куда звук не пробивался. В кабинет отца звук не пробивался никогда. Толстые дубовые двери, тяжёлые шторы, стены, которые, казалось, сами умели молчать.

Лили закрыла книгу.

Она сделала это медленно, давая странице улечься по странице, корешку — принять нагрузку. Потом положила книгу на стол точно по центру — выравнивала по воображаемой оси, параллельно краю. Маленькая глупость. Она знала, что это глупость, и всё равно делала. Если хотя бы что-то одно стоит прямо, думала она, это не катастрофа. Это просто день.

Она встала.

Коридор встретил её белым светом — матовые окна под потолком пропускали его как через молоко, без углов, без теней. В первый год она думала, что это красиво. Потом поняла, что в этом доме нет теней намеренно — не из эстетики, а потому что тени дают место для укрытия. Здесь не было мест, где можно спрятаться.

Только она умудрялась. Умудрялась — в книгах, в тихих утрах, в засушенном кленовом листе между страницами.

Её шаги не звучали. Она давно научилась ходить так, чтобы не звучать, — это тоже было частью выживания, хотя она никогда не называла это таким словом. Просто привычка. Просто удобнее.

Стук в дверь был лёгким. Мишель не имела привычки стучать громко — она вообще старалась занимать как можно меньше пространства, эта женщина, которая убирала комнату Лили уже пять лет и за всё это время не сказала ничего лишнего. Лили иногда думала, что в другой жизни они мог-

ли бы быть подругами. В этой — они обе просто умели быть тихими.

— Отец зовёт, — сказала Мишель.

Голос у неё был ровный. Профессионально ровный. Но она смотрела куда-то левее Лили — на стену, на полку с книгами, на что угодно, только не в лицо.

Лили умела читать такие вещи.

Когда человек не смотрит тебе в глаза, это либо стыд, либо жалость. Мишель не была из тех, кто испытывает стыд по чужим делам. Значит, жалость. А жалость означала, что она знала что-то, чего не могла сказать вслух.

— Хорошо, — ответила Лили.

Больше не было нужды ни в чём. Мишель кивнула и ушла, и Лили осталась в дверях своей комнаты — одну секунду, не больше. Секунда, чтобы почувствовать под ногами пол. Секунда, чтобы взять что-то, что нельзя было назвать.

Не страх. Страх был горячим и судорожным — она знала его хорошо. Это было другое. Это было холодное, как стекло в феврале, когда прикладываешь к нему ладонь и понимаешь, что тепло идёт только от тебя. Предчувствие. Предчувствие, что этот вызов — не как другие.

Другие вызовы она умела предсказать. Знала их поводы, знала тон, знала, как будет пахнуть воздух в кабинете — кожей и сигарным дымом и чем-то, что нельзя было описать иначе, чем словом «власть». Умела к ним готовиться. Надевала внутри что-то вроде стекла — прозрачного, тонкого, та-

кого, сквозь которое всё видно, но ничто не достаёт.

Этот вызов стекло не принимало.

Лили пошла по коридору.

Белый свет падал сверху ровно, не отклоняясь. Портреты на стенах смотрели мимо неё — предки в тёмных рамах, которые никогда не были её предками по-настоящему, хотя она носила их фамилию. Она никогда не чувствовала себя частью этих стен. Только тенью, которую они не отбрасывали — потому что в этом доме, думала Лили, тени есть только у неё.

Только у неё.

Она дошла до конца коридора и остановилась перед лестницей.

Снизу не доносилось ни звука.

Кабинет отца я знала наизусть — каждый предмет, каждый сантиметр этой комнаты, которую он никогда не называл комнатой. Он говорил «кабинет», и в этом слове слышалось что-то окончательное, как приговор без апелляции.

Тёмные стены, почти красные в свете ламп — цвет старого вина или старой крови, я никогда не могла решить, что точнее. Мечи вдоль правой стены выстроились по росту, как солдаты, которым давно не нужны приказы — они уже знают своё дело. Шкура медведя на полу лежала туда, где она всегда лежала: перед столом, чуть левее центра, и я, как всегда, обошла её по краю, хотя можно было идти прямо. Старая привычка. Старый страх, переодетый в привычку.

Двое незнакомцев стояли у окна.

Один — невысокий, плотный, с папкой под мышкой — смотрел в сад. Второй стоял так, как стоят люди, которые умеют занимать пространство, не двигаясь. Высокий. Тёмный костюм, который, должно быть, стоил больше, чем все мои книги вместе взятые. Руки в карманах — не небрежно, а как будто он нарочно убрал их подальше, чтобы не касаться ничего лишнего.

Я вошла тихо. Я всегда входила тихо.

Он обернулся первым.

Лицо как закрытая дверь. Красивое — и именно это пугало больше всего остального в комнате, больше мечей и медведя, потому что красота такого рода не обещает ничего хорошего. Резкие линии, тёмные глаза, рот в одну прямую черту. Он посмотрел на меня секунду — ровно столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что смотреть не на что, — и отвернулся к окну.

Он смотрел сквозь меня.

Я знала это ощущение. Отец смотрел так всю мою жизнь — как будто меня нет, есть только место, которое я занимаю, и оно недостаточно полезное, чтобы замечать его отдельно. Я привыкла. Или думала, что привыкла. Но от незнакомца это болело иначе — быстро, как порез о бумагу, который не сразу чувствуешь, а потом удивляешься, откуда кровь.

— Лили, — сказал отец.

Он произносил моё имя так, будто оно было инструмен-

том — не называл, а применял.

Я подошла к середине комнаты и остановилась там, где останавливалась всегда: в трёх шагах от стола, не дальше, не ближе. Отец не сидел — стоял сбоку от кресла, опираясь на спинку одной рукой. Любимая поза для объявлений, которые не обсуждаются.

— Это Джон Коул, — сказал он. — Его советник Дерек.

Джон Коул не повернулся снова. Советник кивнул, не улыбаясь.

— Вы выйдете замуж через три недели, — сказал отец.

Он сказал «выйдете» — множественное число с единственным адресатом. Как будто за него уже всё решила другая Лили, взрослая и понятливая, и эту вот — стоящую здесь, с холодными пальцами и нитью от рукава, которую она крутила, сама не замечая — только поставили в известность.

Слова опустились в тишину и начали тонуть.

Не паника. Паника — это что-то горячее, быстрое, она сжимает горло и требует движения. То, что случилось внутри, было другим: как будто кто-то убрал звук. Дерек открыл папку и начал говорить — ритмично, ровно, как человек, который произносит эти фразы не впервые. Я слышала ритм. Слова не доходили.

Союз. Договор. Дата.

Три недели.

Я смотрела на Джона Коула. Он стоял чуть боком к окну, и свет с улицы — серый, предзакатный — лежал на одной

стороне его лица так, как ложится в книгах, которые я читала: на героях, которых любить нельзя, но страницы сами переворачиваются.

Он не смотрел на меня. Он смотрел куда-то за окно с таким видом, будто принятое решение его уже не касается, потому что стало частью прошлого — он принял его, сложил и убрал.

Дерек всё говорил. Отец кивал.

Я поняла, что моё тело уже согласилось — стоит тихо, руки вдоль боков, лицо ровное. Тело умело это делать без меня. Много лет практики.

И вот тогда — я сама не поняла как — слово выпало.
— Нет.

Не крик. Даже не полный голос — скорее выдох, который случайно оказался словом. Оно упало в паузу между фразами Дерекка и осталось там, как камень в воде, и круги от него пошли по тишине, и я стояла, глядя на эти круги, и думала: *зачем*.

Дерек замолчал на полуслове.

Отец не повернулся сразу. Я видела, как у него напряглась челюсть — маленькое движение, почти незаметное, если не знать, куда смотреть. Я знала. Я изучила этот словарь раньше, чем научилась читать настоящие книги.

А Джон Коул повернулся.

Не резко — медленно, как будто услышал что-то, что потребовало проверки. Тёмные глаза нашли меня — не сквозь,

а на меня, прямо, без той профессиональной пустоты, с которой он смотрел минуту назад. Долю секунды он смотрел именно на меня, как будто увидел что-то неожиданное там, где ожидал найти только место, которое занимает человек.

Потом отвернулся.

Как будто ничего не было.

Отец наконец посмотрел на меня — медленно, с той стороны стола, и в его взгляде не было ни удивления, ни злости, только спокойный расчёт человека, который уже знает, что произойдёт дальше, и которому просто нужно дождаться, пока гости уйдут.

Я смотрела на мечи на стене.

Я знала их все по именам — отец рассказывал когда-то, давно, когда я была маленькой и ещё думала, что знание — это защита. Самый длинный назывался что-то связанное с победой. Я не помнила точно. Я помнила только, что они никогда не падали со стены. Что бы ни происходило в этой комнате, они оставались на месте.

Дерек снова открыл рот, чтобы продолжить.

Я умею быть мебелью.

Это единственное, чему отец научил меня хорошо — занимать угол комнаты так, чтобы воздух не заметил перемены. Встать, куда указано. Замолчать раньше, чем тебя попросят. Сделаться частью обоев, частью тени от шторы, частью тишины, которая никогда ничему не возражает.

Стефано даже не смотрит на меня, когда поднимает руку

— небрежный жест в сторону дальней стены, чуть левее камина. Я прохожу туда, встаю. Спина прямая, руки сложены внизу. Привычка, въевшаяся в мышцы раньше, чем я научилась читать.

Адвокат раскладывает бумаги на столе — плотный человек в сером костюме, из тех, кто умеет быть незаметным иначе, чем я: он незаметен потому что профессионален, я — потому что меня к этому приучили. Разница существенная, хотя снаружи выглядит одинаково.

Джон Коул не садится.

Отец предложил — короткое движение ладонью в сторону кресел у окна. Коул не ответил словами. Просто остался стоять там, где стоял: чуть сбоку от стола, руки в карманах брюк, плечи опущены. Со стороны — расслабленность. Но я стою у этой стены уже достаточно лет, чтобы научиться читать людей, которые не хотят, чтобы их читали.

Это не расслабленность. Это контроль. Разница тонкая, как трещина в фарфоре — снаружи не видно, но если нажать, она разойдётся именно там.

Я знаю эту разницу. Отец тоже умеет выглядеть спокойным.

Они говорят о территориях. О сроках. О чём-то в Лацио, о чём-то в Риме. Слова долетают до меня ровным гулом — я слышу их, но не цепляюсь: _Кастильо_, _граница зоны_, _три месяца испытательного срока_. Меня упоминают дважды. Один раз как «невесту», второй — вовсе никак, просто

«это решает вопрос наследования с австрийской стороны». Я думаю: интересно, Джейн Эйр хотя бы слышала своё имя, когда Рочестер оговаривал условия с её опекуном. Наверное, нет. Наверное, это общая судьба некоторых женщин — существовать в третьем лице в собственной судьбе.

Адвокат что-то уточняет у Коула — тихо, склонившись к документу. Коул отвечает коротко, почти не глядя на бумагу. Я слежу за его рукой. Пальцы не напряжены. Ни малейшей задержки перед ответом.

Он делал это раньше.

Эта мысль приходит спокойно, без паники — просто как констатация. Он подписывал чьи-то жизни раньше. Это не новое для него движение. Он стоит здесь, в чужом кабинете с медвежьей шкурой на полу и мечами на стенах, и ничто в его позе не говорит о том, что он вообще замечает обстановку. Он пришёл сюда за чем-то своим, и мне в этом «своём» отведена роль, которую он уже знает наизусть.

Адвокат подвигает бумаги к отцу.

Стефано берёт ручку. Пауза — совсем короткая, театральная: он любит маленькие ритуалы власти, небольшие остановки перед подписью, которые напоминают всем присутствующим, что решение принимает именно он. Потом — подпись. Чёткая, знакомая мне с детства. Я видела её внизу документов, которые не должна была видеть. Видела её на конверте, который пришёл однажды из Вены и после которого отец три дня ходил с тем особенным выражением лица,

при котором лучше не попадаться ему на глаза.

Адвокат перекладывает бумагу.

Коул берёт ручку — и подписывает без паузы. Совсем без паузы. Ни секунды на то, чтобы прочитывать ещё раз, ни взгляда в конец страницы. Просто — росчерк, и готово.

— Он делал это раньше, — думаю я снова. Только теперь мысль звучит иначе. Не как констатация. Как что-то холодное, осевшее где-то между рёбрами.

Адвокат начинает убирать бумаги — складывает аккуратно, с той профессиональной неторопливостью, которая показывает: дело сделано, ничего не изменить. Стефано поворачивается к бару у дальней стены. Звук льда о стекло — привычный, домашний, страшный по-своему.

И тогда Коул смотрит на меня.

Не в мою сторону, как раньше — не беглая проверка, есть ли я ещё здесь. На меня. Прямо. Несколько секунд — долгих, не заполненных ничем, кроме этого взгляда.

Он не оценивает. Я знаю, как выглядит оценивающий взгляд — отец использовал его перед тем, как принять решение, и у него было что-то торгашеское, прицельное. У Коула не так. Он смотрит, как будто читает что-то на странице, в которой не понимает языка. Не холодно. Не жестоко. Просто — внимательно. Как будто я — задача, которую он ещё не решил.

Я должна отвести взгляд.

Я всегда отвожу взгляд первой. Это рефлекс такой же ста-

рый, как умение стоять у стены, — взгляд в ответ на взгляд заканчивается плохо, я это знаю на уровне кожи, на уровне памяти, которая не нуждается в словах.

Но я не отвожу.

Три секунды. Может, четыре. Мы смотрим друг на друга через чужой кабинет, через запах дорогого табака и чернил от только что подписанных документов, через медвежью шкуру на полу и портреты мёртвых предков на стенах, — и я стою у своей стены, и он стоит у своего стола, и между нами ничего не происходит, кроме этого взгляда.

— Зачем ты смотришь, — думаю я. — Ты уже получил, что хотел. Бумага подписана. Меня здесь больше нет в том смысле, в котором я была нужна. —

— Лили.

Голос отца.

Коул отводит взгляд первым.

Я смотрю на Стефано. Он стоит у бара с бокалом в руке и смотрит на меня так, как смотрит всегда — спокойно, без спешки, с тем особенным выражением, которое не нуждается в словах. Я перевожу дыхание. Выпрямляю спину чуть сильнее, чем она уже выпрямлена, — на миллиметр, незаметно, просто чтобы почувствовать что-то твёрдое.

Адвокат закрывает папку. Щёлкает замок.

Отец умел ходить так, что его шаги не были слышны. Она узнала об этом давно — ещё ребёнком, когда научилась по звукам определять, где он находится в доме, чтобы успеть

раствориться. Но сейчас он шёл намеренно медленно, и подошвы его туфель мягко касались паркета, и это была отдельная любезность — для гостей, для себя, для картины, которую он создавал.

Лили шла за ним на шаг позади, как полагалось.

Коридор от кабинета до входных дверей был длинным. Она знала каждую половицу здесь, каждую трещину в лаке, каждый портрет на стенах — бледные мужчины с одинаковыми ртами смотрели мимо неё, как смотрело большинство людей в этом доме. Стефано что-то говорил Джону — светски, почти тепло, голос с бархатной подкладкой. Она слышала отдельные слова: *следующий раз*, *детали*, *вы убедитесь*. Он умел это делать. Быть любезным. Улыбаться правым уголком рта и открывать дверь жестом, будто это честь для вошедшего.

Это было самое страшное в нём — что он умел.

Что нельзя было зайти и сказать кому-нибудь постороннему: *посмотрите, это чудовище*, — потому что посторонний видел вежливого мужчину с хорошими манерами и хорошим костюмом, и говорил: *да что вы, он выглядит вполне*.

У двери Джон снял пальто с вешалки. Дерек уже вышел — юрист первым просочился за порог, не прощаясь, деловито, как человек, у которого есть документы и расписание. Стефано сказал что-то о следующей встрече — Лили не уловила конец фразы, потому что смотрела на руки Джона.

Длинные пальцы. Спокойные движения — он накинул пальто одним плавным жестом, без торопливости, без лишних движений. Застегнул верхнюю пуговицу, потом нижнюю, ровно. Никакой спешки. Никакого сожаления, которое она могла бы прочесть в этих движениях, если бы умела. Она думала, что люди, которые только что решили чью-то судьбу, должны хоть что-то такое носить в теле — неловкость, или осторожность, или хотя бы избыточную аккуратность жестов. Но его руки были просто руками человека, одевающегося перед выходом.

Джейн Эйр думала, что Рочестер тоже такой. Что внешнее спокойствие — это либо жестокость, либо тайная рана. Лили сейчас не могла решить, какой из этих вариантов хуже. Он не попрощался с ней.

Не грубо. Не демонстративно. Просто она не существовала в пространстве его прощаний — как не существует стул, мимо которого выходят. Стефано что-то финальное произнёс, чуть приобнял Джона за плечо — этот жест доверия, который она за двадцать два года видела у отца не больше пяти раз, — и Джон кивнул, и вышел.

Дверь начала закрываться.

И тогда — уже снаружи, уже спиной, уже там, где холод октябрьского воздуха, — он остановился.

Не обернулся. Просто стоял. Секунду. Может, меньше.

Потом пошёл дальше, и гравий под его шагами захрустел, и звук этот растворился в расстоянии.

Лили не знала, что это значило. И именно это — не знать — не давало ей дышать ровно. Потому что если бы он просто ушёл, не останавливаясь, это было бы понятно. Понятное она умела переносить. Но эта секунда стояния — без объяснения, без жеста, без слова — засела где-то между рёбер, как заноза, и она чувствовала её там, тупую, бессмысленную, свою.

Дверь закрылась.

Стефано повернулся.

Тишина в холле изменилась. Это был один из тех навыков, которые у неё выработались сами — чувствовать качество тишины. Та, что была минуту назад, пока Джон стоял у двери, была просто тишиной. Эта — другая. Плотная, как воздух перед грозой. Как будто из пространства убрали последнего свидетеля, и стены теперь могли позволить себе быть стенами снова.

Она не подняла глаз.

Она смотрела на его руки — на этот раз на отцовские. Массивные, с короткими пальцами, с тёмными волосками на костяшках. Они висели спокойно вдоль тела.

Он молчал.

Она умела считать эти паузы. Он делал их намеренно — чтобы человек напротив заполнял их сам, нервами, воображением, тем, чего ещё не произошло.

Потом он сказал — тихо, почти мягко:

— Ты что-то сказала.

Не вопрос.

Она наконец подняла взгляд — не потому что хотела, а потому что не поднять было бы хуже. Его лицо было ровным. Это тоже она знала: он никогда не кричал сразу. Сначала — вот так. Тихо. Почти участливо. Как будто давал ей шанс объясниться, хотя объяснение было ему не нужно.

— Да, — сказала она.

Её голос прозвучал ровно. Это было маленькое чудо — голос, который не дрожит, когда всё остальное внутри давно уже сломалось.

Они идут по коридору рядом — не толкает, не держит за руку, просто идёт. Этого достаточно.

Лили знает этот маршрут наизусть. Двадцать два шага от гостиной до двери кабинета. Она считала их ещё в детстве, когда думала, что считать — значит контролировать. Сейчас она не считает. Она думает о Стиве.

Где он сейчас — наверху, в своей комнате? Знает ли, что гости приехали? Знает ли, что её продали. Она представляет, как он сидит на кровати и смотрит в окно, и его девушка, маленькая, тихая Мария, держит его за руку и ни о чём не спрашивает. Мария не знает, что её существование — это поводок, которым Стефано держит Лили. Стив знает. И молчит. И Лили молчит. Они оба молчат и держат друг друга в живых этим молчанием.

Дверь кабинета. Отец входит первым.

Она переступает порог.

Красное дерево стола поглощает свет. Лили стоит посередине комнаты — не у стены, не у кресла, просто посередине, потому что здесь нет места, которое было бы безопаснее другого. Стефано садится. Складывает руки. Смотрит на неё с тем выражением, которое она научилась читать раньше, чем научилась читать слова.

Он ждёт.

Она знает, чего он ждёт. Он ждёт, пока она начнёт объяснять. Начнёт извиняться. Начнёт заполнять тишину словами, которые станут материалом для разговора. А разговор с ним всегда заканчивается одинаково — всегда в пользу того, кто сидит, а не стоит.

Лили молчит.

Где-то за окном садится солнце. Она не смотрит. Она смотрит в точку чуть левее его плеча — научилась этому тоже давно, это называется «смотреть и не видеть», это способ присутствовать телом и уходить остальным.

— Ты умная девочка, — говорит он наконец. Голос ровный, почти скучающий, как у человека, который объясняет правила игры в последний раз. — Поэтому я не буду тратить время.

Он говорит. Она слушает.

Он говорит о том, что произойдёт, если она ещё раз позволит себе подобное при гостях — одно слово, сказанное тихо, почти неслышно, почти ничто. Он говорит о последствиях, и в его перечне нет ни одного слова о ней. Только Стив.

Только Мария. Только люди, которых она любит и которые поэтому уязвимы.

Он говорит об этом так, как говорят о погоде. Как о чём-то неизбежном, природном, не требующем эмоций.

Лили слушает — и чувствует, как внутри что-то сжимается. Не резко, не со вспышкой боли. Медленно, как будто кто-то берёт живое и сминает его в точку. Она знает это ощущение. Оно приходит каждый раз, когда часть её, которая ещё помнит, что значит сопротивляться, перестаёт помнить. Старый механизм. Надёжный. Она сделала его сама, из необходимости, из инстинкта выживания — и теперь иногда не знает, где он заканчивается и где начинается она.

Он замолкает.

— Я поняла, — говорит она.

Два слова. Голос не дрожит. Она научилась этому. Голос — это последнее, что ей осталось контролировать, и она держит его ровным с такой силой, которую никто здесь не видит и которую никто никогда не назовёт мужеством, хотя это оно и есть.

Я сказала нет один раз в жизни. Один раз, тихо, почти про себя, и всё равно — вслух. И уже плачу. Платить буду долго — ещё до того, как выйду отсюда.

Стефано кивает. Встаёт.

Он идёт к ней медленно — не торопится, никогда не торопится, это тоже часть механизма, часть того, как он устроен — и Лили не двигается. Двигаться некуда. Кабинет боль-

шой, но стены у него везде.

И в ту секунду, пока он идёт, она думает — вдруг, совсем не вовремя, как всегда бывает с мыслями, которые не хочешь думать — она думает о Джоне Коуле.

О том, как он стоял в дверях. Как остановился на пороге — одну секунду, две — и не обернулся. Ушёл. Холодный, красивый, чужой. Он купил её так, как покупают что-то полезное — без интереса к тому, что внутри. Смотрел сквозь неё весь этот час, и она была для него не человеком, а строчкой в договоре.

Ты не знаешь, что купил, — думает она. Не с горькостью. Просто как факт. Просто потому что это правда, и правда иногда — единственное, что у неё есть.

Тени в кабинете становятся длиннее.

Она остаётся стоять.

Глава 5

Цена одного слова

Дверь закрылась без звука.

Именно это было страшнее всего — не хлопок, не удар о косяк, а почти нежный щелчок замка, как будто Стефано запер дверь с ценными вещами. Лили слышала, как язычок вошёл в паз, и тело отреагировало раньше, чем она успела подумать: плечи опустились, живот сжался, ладони сами собой выровнялись по швам. Руки помнили, что нужно делать, когда дверь закрывается вот так.

Кабинет пах кожей и табаком. Медленное осеннее солнце падало через высокие окна, делая всё внутри слишком чётким, слишком обычным — шкура медведя на полу лежала как всегда, мечи на стенах блестели как всегда, часы тикали. Стефано прошёл к столу неторопливо, почти прогулочным шагом, и остановился, не садясь.

— Подойди.

Она подошла.

Удар получился лёгким — почти деловым. Открытая ладонь, щека, хлёсткий звук, который показался Лили неприлично громким в тишине кабинета. Не кулак. Даже не замах. Просто поправил.

— Одно слово, — сказал он тем же тоном, каким читают вслух список покупок. — Ты сказала одно слово при гостях.

Щека горела. Лили смотрела в точку чуть ниже его воротника и думала: не отступать. Не отступать, потому что, если она сделает шаг назад, это будет видно. Это будет означать, что она испугалась. А она не испугалась. Она просто стоит, и щека горит, и всё нормально.

Но разум уже начинал скользить.

*Красная комната. *

Это происходило всегда, когда боль становилась настоящей, — она уходила туда, где был красный свет сквозь задёрнутые шторы и Джейн, маленькая Джейн, запертая среди чужой мебели и чужих портретов. Она читала эту главу столько раз, что знала наизусть: *«Я не была уверена, что тень не движется» *. Джейн видела призрака в красном свете — а это был просто её собственный страх, отражённый в зеркале. Лили тоже видела призраков. Просто её призраки ходили в дорогих костюмах и знали, как закрывать двери без звука.

Стефано взял её за подбородок. Пальцы — спокойные, холодные — развернули её лицо к свету, как разворачивают фарфоровую тарелку, чтобы получше рассмотреть трещину.
— Смотри на меня.

Она посмотрела.

«*Я не здесь*», — сказала она себе. — *Я смотрю на это со стороны. Вон та девушка стоит у стола в кабинете с медвежьей шкурой. У неё горит щека. Это не я.*

Это работало. Почти.

— Ты понимаешь, что произошло? — спросил он. — Не

«нет» меня беспокоит. Меня беспокоит то, что ты решила, будто можешь говорить «нет» при чужих людях. Это разные вещи, Лили.

Она молчала.

— Скажи, что понимаешь.

— Я понимаю.

Голос вышел ровным. Она не знала, откуда в ней бралась эта ровность — может, та же мышца, что держит спину прямой, когда очень хочется согнуться.

Стефано отпустил её подбородок. Прошёлся вдоль стола, не торопясь, как человек, у которого много времени и ни одного повода для спешки.

— Коул уедет, — сказал он. — Будут ещё встречи. Приёмы. Люди, которые будут смотреть на тебя и делать выводы о нашей семье. — Он остановился. Обернулся. — Я хочу убедиться, что ты понимаешь цену ошибок. По-настоящему понимаешь.

Не отступай, — скомандовала Лили себе.

Она не отступила. Но стена за ней всё равно нашлась — холодная. Она упёрлась в неё лопатками и только тогда поняла, что всё-таки сделала шаг назад.

Потом она перестала считать.

Красная комната принимала её привычно, как старое кресло. Там было тихо. Там не было Стефано, не было кабинета, не было медвежьей шкуры, которую она ненавидела с детства. Там был только красный свет и Джейн где-то рядом

— маленькая, упрямая, живая, хотя все вокруг хотели бы, чтобы она не была такой.

*«Несправедливо, несправедливо» *, — думала Джейн в красной комнате.

Справедливость, — думала Лили, — *это слово из других книг. *

Когда она вернулась в кабинет — а она всегда возвращалась, потому что тело не давало уйти насовсем — Стефано стоял у окна, поправляя запонку.

— Стив, — произнёс он, не оборачиваясь, — хороший мальчик. Нашёл себе девушку. Приятная.

Лили почувствовала, как что-то в груди остановилось.

— Ты знаешь, что я имею в виду.

Он сказал это буднично — как называют улицу, когда объясняют маршрут. Мария. Просто имя. Просто адрес.

— Да, — сказала Лили.

Голос сделал это за неё, пока она ещё соображала. Вот за что она была благодарна телу: оно умело отвечать, когда голова ещё не успевала.

Стефано наконец повернулся. Посмотрел на неё — без злости, что было как-то хуже злости — и чуть наклонил голову набок.

— Хорошо. Я рад, что мы поняли друг друга.

Он вышел.

Тихо.

Лили простояла ещё несколько секунд — прямо, руки по

швам — а потом ноги просто сделали то, что хотели, и она оказалась на полу. Не упала. Просто опустилась, потому что стоять больше не было смысла.

Она не плакала. Слезы требовали какого-то внутреннего разрешения, а разрешения не было — был только ровный, почти механический выдох, и ещё один, и ещё. Дышать. Просто дышать.

«*Стив не должен знать*», — сказала она себе.

Это была первая связная мысль, и она ухватилась за неё как за что-то твёрдое. Стив не должен видеть. Стив не должен спрашивать.

Она это выберет. Она уже выбрала.

«*Это мой выбор*», — сказала она себе, потому что иначе было невыносимо.

Солнце в окне не изменилось. Часы тикали. Медвежья шкура пахла пылью и чем-то старым. Лили сидела на полу кабинета отца, прижимала ладонь к горячей щеке. А потом она упала в обморок, и все решили, что это истерика.

Лили не собиралась в обморок.

Она просто дышала — ровно, методично — и ждала, пока тело решит, что уже можно встать.

Зеркало было тёмным.

Не настоящим зеркалом — Лили никогда не держала его в комнате, где Стефано мог войти без стука. Только стекло шкафа, отполированное до холодного блеска, отражало её силуэт смутно, как чернила, разлитые в воде. Она подошла

к нему вплотную и посмотрела на своё лицо.

Скула. Левая. Тёмное пятно уже набухало под кожей — завтра будет лиловым, послезавтра жёлто-зелёным. Губа рассечена в углу, подсохшая корочка уже стянула кожу. Лили провела по ней кончиком языка — привычная проверка, механическая, как нажатие на зуб, чтобы убедиться, что держится.

Держится.

Она собрала волосы и переложила прядь на левую щёку. В зеркале возникло что-то похожее на обычную девушку, которая просто устала после долгого вечера. Этого было достаточно.

Дверь открылась без скрипа — она научилась этому давно, нажимать чуть ниже ручки, чтобы петля не пела.

Коридор был пуст.

Гости разошлись. Лили это поняла по тишине — не домашней тишине, когда дом просто молчит, а особенной, после-тишине, когда люди уходят и воздух ещё помнит их присутствие, но уже отпускает. Люстры в коридоре горели вполсилы — Стефано не любил жечь электричество без нужды. Длинная полоса приглушённого света тянулась до лестницы.

Лили пошла вдоль стены.

Не потому, что боялась упасть — хотя правый бок ныл при каждом шаге, и она старалась не дышать слишком глубоко. Просто пальцы сами нашли холодную штукатурку и пошли по ней, едва касаясь, — дюйм за дюймом. Стена была

настоящей. Твёрдой. Это имело значение сейчас, когда голова ещё плавала в том особом, ватном оцепенении, которое наступало после. Оцепенение было старым знакомым — оно приходило и уходило, как прилив. Лили знала: пока оно есть, она в безопасности от самой себя. Больно будет потом.

Пока — просто дойти до комнаты.

Ступени она считала. Четырнадцать. Всегда четырнадцать. На третьей чуть подвернулась нога, и пальцы сжались на перилах сильнее, чем нужно, — она зажмурилась на секунду и выдохнула. Открыла глаза. Продолжила.

Её комната была в конце второго коридора, за портретом прапрадеда в тёмной раме — тучного человека с таким же тучным самодовольством на лице. Лили всегда думала, что он смотрит с осуждением. Сегодня она не подняла голову.

Замок щёлкнул. Она вошла. Закрыла дверь за собой и прислонилась к ней спиной — просто на секунду, просто чтобы почувствовать, что есть преграда между ней и коридором.

Подоконник был холодным через ткань платья — она забыла переодеться. Лили поджала ноги и обхватила колени руками. За окном сад тонул в темноте — ни одного фонаря, ни одного огня, только смутные очертания старых кипарисов, которые Стефано почему-то не вырубал. Может, потому что кипарис — дерево траура, а это его устраивало.

Лили думала о том, что через три недели уедет из этого дома.

Мысль была странной. Не радостной и не страшной — просто странной, как факт из чужой биографии. Она прожила здесь двадцать два года. Знала, какая ступенька скрипит, знала, в какое время Стефано пьёт кофе и в какое лучше не попадаться в коридоре. Это был её ад, но она знала его наизусть. А там — не знала ничего.

И тогда, совершенно некстати, возник Джон Коул.

Не образ — она почти не смотрела на него. Просто ощущение: человек в тёмном костюме, который подписал договор без паузы и смотрел на неё прямо — один раз, несколько секунд. И почему-то остановился у двери.

Лили не знала, зачем он остановился. Может, забыл что-то. Может, просто так — механическая заминка, не значащая ничего. Она спросила себя: он хуже? Или просто по-другому?

Вопрос был честным, и она не стала от него отмахиваться сразу — дала ему повиснуть в темноте, над садом, над кипарисами. Он был жёстким, это чувствовалось. Он был из тех людей, для которых другие люди — строчки в договоре. Стефано тоже из таких, только у Стефано ещё есть удовольствие от чужой боли — отдельное, личное. Был ли оно у Коула?

Она не знала.

«*Это не имеет значения*», — сказала она себе.

Надеждой не выживают. Надеждой умирают медленно, по кусочку, каждый раз, когда реальность оказывается не такой. Лили знала это лучше, чем что-либо. Она выживала иначе —

тихо, внимательно, без лишних движений. Считала ступени. Держалась за стены. Брала книгу в руки, не открывая.

За окном что-то зашелестело в кипарисах — ветер или птица, не разобрать.

Пудра — это ложь, которую она накладывала двумя пальцами, круговыми движениями, глядя в зеркало ровно настолько, насколько нужно. Не больше. Смотреть дольше означало видеть, а видеть означало думать, а думать сегодня утром она себе запретила.

Воротник блузки закрывал шею до подбородка. Это была единственная правильная блузка — высокая, светло-серая, чуть жёсткая по краю. Лили надела её механически, как надевают броню: не потому что красиво, а потому что надо.

Лестница встретила её тишиной. Особняк по утрам всегда молчал именно так — слишком организованно, слишком намеренно, как будто даже пыль знала здесь своё место.

Столовая пахла кофе и свежей выпечкой. Солнце через высокие окна ложилось на белую скатерть полосами — слишком яркое для такого утра, неуместное, словно пришло по ошибке.

Стефано уже сидел во главе стола. Развёрнутая газета, кофейная чашка, полная до краёв, — всё на своих местах, как всегда. Он не поднял взгляда, когда Лили вошла, но она знала, что он слышал её шаги ещё на лестнице.

Стив сидел слева, чуть ссутулившись над тарелкой. Руки лежали по обе стороны от ножа и вилки — неподвижно,

слишком неподвижно для человека, который просто ждёт завтрак. Он не ел. Он держал приборы так, как держат что-то, лишь бы держать хоть что-нибудь.

Лили села напротив.

*Не смотри на него. Ешь. Кивай. Считай минуты. *

— Шесть недель — вполне достаточно для подготовки, — сказал Стефано, не опуская газету. — Церемония здесь, приём в Риме. Коулы возьмут на себя расходы по банкету, нам — гости со стороны невесты. Список я передам тебе после завтрака.

— Хорошо, — сказала Лили.

Слово вышло правильным. Ровным. Она им гордилась — тем, как оно вышло: без усилия, почти мягко, как будто её это и вправду касалось в той же мере, в которой касается погода.

Она потянулась за хлебом. Корзинка стояла посередине, чуть ближе к Стиву, и её рука прошла мимо его запястья на расстоянии ладони.

Он не пошевелился.

— Коул прислал подтверждение вчера вечером, — продолжал Стефано. — Всё в порядке. Ты должна будешь сопровождать меня на встречу с Деваро через неделю. Протокол.

— Поняла.

*Двадцать минут. Может, меньше, если кофе уже остывает. *

Она отломила кусок хлеба. Нож лежал рядом, но поднять его означало совершить лишнее движение, лишний жест, привлечь лишнее внимание. Лили ела без масла.

Где-то за окном перекликались птицы — коротко, бестолково, совершенно не понимая, как им повезло быть снаружи.

Стив поднял взгляд.

Это произошло само собой — она это почувствовала ещё до того, как увидела: что-то изменилось в воздухе за столом, какое-то лёгкое смещение. Лили не повернула головы. Она продолжала смотреть на свою тарелку, на хлеб, на белую ска-терть — но боковым зрением видела, что он смотрит на неё. На воротник. На то, как она держит руки.

*Стив. Пожалуйста. *

Она подняла взгляд — не резко, не намеренно, просто позволила глазам встретиться с его. Секунда. Меньше секунды. Достаточно.

Она чуть качнула головой. Едва заметно — не жест, почти дыхание. *Не сейчас. Не здесь. Молчи. *

Он смотрел на неё ещё мгновение — и она видела в его глазах именно то, чего боялась: он уже знал. Или догадывался достаточно. Что-то в линии его рта изменилось — он сжал губы чуть плотнее, как будто удерживал внутри слово, которое уже поднялось к горлу.

Потом опустил взгляд обратно в тарелку.

Она выдохнула. Почти. Не до конца.

Газета зашуршала.

— Лили.

Стефано сложил газету аккуратно — четверть за четвертью, без единой лишней складки — и положил её точно вдоль края стола. Взял чашку. Отпил. Поставил.

Он улыбался. Самым краем рта — той улыбкой, которую Лили знала лучше любого его слова. Не торжествующей. Просто... довольной. Как у человека, который только что убедился в чём-то, что и без того знал.

Он не сказал ничего.

Не спросил, что означал этот обмен взглядами. Не прокомментировал. Не потребовал объяснений ни от неё, ни от Стива.

Он просто посмотрел на неё — спокойно, почти дружески — и эта улыбка держалась ровно столько, сколько нужно, чтобы она поняла: он видел. Он всё видел. И этого было достаточно.

Вот так это работает, — подумала Лили, глядя в свою тарелку. — *Не кулаком. Не словом. Просто — знает.*

Это было хуже кулака. Кулак — это боль, которая проходит. А это — тишина, которая остаётся.

— Список гостей после завтрака, — повторил Стефано и снова открыл газету.

— Да, — сказала Лили.

Хлеб в её руке стал сухим, будто она держала его уже целую вечность.

Сад в конце октября выглядит как извинение. Деревья

стоят почти голые, несколько последних листьев держатся из упрямства, которое я понимаю лучше, чем хотела бы. Небо — белёсое, без единого облака, то есть без единой тени — одна ровная бестеневая пустота, от которой некуда спрятаться.

Я сижу на скамейке у фонтана, держу книгу так, как держат вещи, в которые не смотрят. Страница открыта на середине главы, которую я уже читала раз двадцать. Ребро левого бока откликается на каждый вдох. Не остро — тупо, настойчиво, как кто-то, кто стучится в дверь и знает, что его услышат, и никуда не торопится. Я научилась дышать мелко. Это не так сложно, как кажется.

Стив садится рядом без предупреждения.

Я не слышу его шагов — трава слишком мягкая, он всегда ходил тихо, ещё с детства, когда учился не будить отца. Просто в какой-то момент справа от меня становится теплее, и я знаю, что это он. Мы молчим. Он смотрит на фонтан, я смотрю на книгу, которую не читаю. Так проходит, наверное, минута. Может, две.

— Покажи, — говорит он наконец.

Негромко. Без вопросительной интонации. Как будто это продолжение разговора, который мы уже начали, хотя мы ничего не начинали.

Я не делаю вид, что не понимаю. Это было бы оскорбительно для нас обоих.

— Нет, — говорю я.

Тем же тоном, которым говорят детям, потянувшимся к горящей свече. Мягко. Почти нежно. Потому что запрет — это не злость, запрет — это забота. Потому что я не хочу, чтобы он это видел. Не потому, что мне стыдно — стыд давно стал слишком дорогим удовольствием, я от него отказалась. Просто то, что он увидит, останется в нём. А я не хочу оставлять это в нём.

Стив закрывает глаза. Открывает.

— Лили.

— Нет.

Он поворачивается ко мне. Я не поворачиваюсь к нему — смотрю на страницу с Красной комнатой, на слова, которые знаю наизусть: *запертая в этой комнате, я начала думать, что схожу с ума.* Мне не нужно смотреть на Стива, чтобы знать, что у него сейчас на лице. Я знаю это лицо так же хорошо, как эту страницу.

— Я не могу больше молчать, — говорит он. — Я не могу сидеть за одним столом и делать вид, что ничего не происходит. Это каждый раз — я вижу, как ты держишь чашку, как ты садишься, как ты —

— Мария, — говорю я.

Тихо. Без интонации. Просто имя, брошенное в воздух, между нами.

Стив замолкает.

Я ненавижу себя за это слово в ту же секунду, как оно произнесено, — за то, что взяла чужое имя и превратила его

в инструмент, в замок, в кляп. Мария ничего мне не сделала. Мария любит Стива и смеётся слишком громко, и красит ногти в разные цвета, и я видела её всего три раза, но каждый раз думала: она живёт в мире, где не знает таких правил. Счастливая. Пусть не знает.

Пусть не узнает.

Стив не отвечает. Я не смотрю на него, но слышу, как он выдыхает — долго, через нос, с тем усилием, с каким выдыхают люди, которые пытаются не сказать что-то, что уже стоит у них в горле.

Потом — тишина.

Я позволяю себе взглянуть. Краем. Он смотрит на фонтан — на воду, которая льётся по камню, равнодушная и непрерывная. Что-то в нём переламывается — я вижу это по тому, как опускаются плечи, как исчезает из лица то напряжение, с которым он шёл сюда. Не впервые. Он ломается так уже не первый раз — и каждый раз выглядит как первый, потому что каждый раз это немного другой Стив, который ломается. Каждый раз — что-то, чего уже не вернуть.

Я думаю: я защищаю его или делаю соучастником?

Не знаю ответа. Думаю, что не знаю уже давно, и просто не формулировала это так точно.

Мы сидим. Фонтан льётся. Последний лист с ближайшего дерева отцепляется и летит косо вниз, медленно, как будто не решается упасть.

Я кладу руку на его руку.

На секунду. Только на секунду — пальцы поверх его пальцев, не пожатие, не объятие, просто прикосновение: *я здесь, я знаю, я не уйду никуда.* Потом убираю руку и снова смотрю в книгу.

Стив встаёт первым.

Он не говорит ничего. Не прощается, не обещает молчать, не просит прощения — и я благодарна ему за это, потому что слова сейчас были бы хуже, чем тишина. Он просто уходит по дорожке обратно к дому, засунув руки в карманы, чуть ссутулившись — и я смотрю ему вслед, пока он не скрывается за углом живой изгороди.

Потом смотрю на фонтан.

Молчание — это не защита. Я знаю это так же хорошо, как знаю Красную комнату, как знаю вкус страха, который начинается ещё до удара — в паузе, в шаге по коридору, в том, как закрывается дверь. Молчание — это тюрьма. Просто в этой тюрьме нас двое, и я сама её строю, и каждый раз, когда произношу имя Марии тихим ровным голосом, я кладу ещё один камень.

Другого выхода я не вижу.

Я открываю книгу на нужной странице — по-настоящему открываю, не как реквизит, а как якорь — и начинаю читать. *Я была одна на свете, всеми брошена, непонятая никем.* Джейн говорит это в Красной комнате, запертая за то, что посмела защищаться. Она думает, что умрёт там.

Она не умирает.

Я дочитываю абзац. Потом ещё один. Фонтан льётся. Октябрьское небо стоит над садом белёсое и равнодушное, и последний лист давно уже лежит на земле, и нигде ни ветерка — только тишина и вода, вода и тишина, и я сижу в этом саду, как в ещё одной комнате, из которой знаю все стены наизусть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.